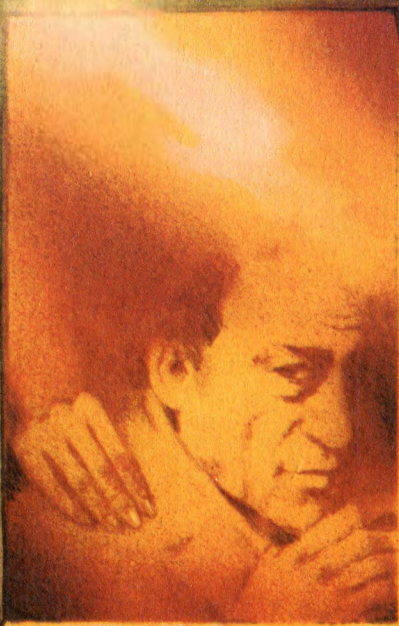


И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Патрик Уайт

Женская рука





Библиотека
хурама
«Интернационал
литература»

Patrick White

Патрик Уайт

Женская рука

Перевод с английского

Составление Р. Облонской

Предисловие В. Скороденко

Москва
«Известия»
1986

И (Австрал)
У13

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент И. Левидова

Обложка художника А. Махова

© Оформление, перевод на русский язык,
составление и предисловие издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1986

Парадоксы Патрика Уайта, или Оттенки трагикомедии

Сейчас Патрику Уайту посвящено множество критических статей и исследований. Они вышли и продолжают появляться у него на родине и далеко за ее пределами. Его известность перешагнула границы стран английского языка, стала всемирной — и распространилась наконец на Австралию, которая с заметным опозданием, но все-таки официально признала в своем «блудном сыне»* явление национальной культуры. А еще в конце 1960-х годов лишь немногие соотечественники Уайта отдавали себе отчет в истинных масштабах и значении его творчества и писали об этом, как, например, крупнейший австралийский историк XX века Мэннинг Кларк: «После затянувшейся паузы духовную жизнь Австралии обогатили несколько великих свершений. Патрик Уайт создал свои романы; Алек Хоуп опубликовал «Оду на смерть Пия XII»; в возвышенный гимн бытию слилась поэзия Дугласа Стюарта и Джудит Райт; Сидней Нолан написал во славу цветущего древа жизни холст «Излучина реки»**». В основном же отечественная литературная критика либо не принимала его в расчет, либо просто не принимала: настольно облик Австралии, встающий со страниц его книг, не отвечал весьма патриотическим и широко распространенным представлениям о процветающей, здоровой, красивой и беззаботной стране. И это в то время, когда литературные обозреватели самых влиятельных периодических изданий Великобритании, США и Канады восторженно рецензировали его романы, ставшие ныне хрестоматийными, — «Тетушкина история» (1948), «Древо человеческое» (1955),

* Так писатель назвал автобиографический очерк, опубликованный в 1958 г.: "Australian Letters", 1958, v. I, № 3, p. 37—40.

** Clark, Manning. A short history of Australia.— N.-Y., 1969, p. 268.

«Фосс» (1957), «Едущие в колеснице» (1961), «Прочная мандала» (1966), «Вивисектор» (1970)*.

Решение Нобелевского комитета о присуждении Патрику Уайту премии по литературе за 1973 год застало врасплох только австралийскую критику. Реакция была закономерной, если уместно называть закономерностью парадокс, но весь облик писателя: биография, характер творчества, философская, сюжетная и изобразительная структура его книг,— все соткано из парадоксов, исполнено внутренней диалектики сопряжения и событования вещей и явлений если и не противоположных, то уж, казалось бы, никак не совместимых**.

В определении Нобелевского комитета говорилось, что премия ему присуждается «...за эпичность и психологизм повествовательного искусства, открывшего миру новый континент в литературе»***. Определение справедливо в прямом и переносном смысле слова: «Континент» — это совокупность всего, что Уайт написал об Австралии, и сама Австралия, занявшая с его книгами свое законное место на литературной карте мира. Правда, место она «застолбила» еще до Уайта благодаря классикам австралийской литературы Г. Лоусону, Х. Х. Ричардсон, К. С. Причард, В. Палмеру, Н. Линдсею и некоторым другим. Но Уайт первый столь решительно выступил против континентальной замкнутости и известного провинциализма, претворив австралийскую трагедию, австралийский фарс, австралийский образ жизни и смерти в общечеловеческую трагедию, фарс и т. д. Интенсивность, с какой он искал и находил приметы оскудения австралийского духа и национального характера, убывания души — оскудения и убывания, ставших оборотной стороной материального процветания и полити-

* Позднее вышли значительные романы «Око бури» (1973) и «Пояс стыдливости» (1976).

** Подробнее о биографии и творчестве П. Уайта см. наше предисловие в кн.: Уайт, Патрик. Древо человеческое.— М., 1976 (то же: 1979), с. 5—18, а также отрывки из книги П. Уайта «Блики в зеркале», которые публикуются в этом сборнике.

*** "International Herald Tribune" (P.), 19.10.1973, p. I.

ческого и культурного изоляционизма, и та беспощадность, бескомпромиссность жестоких художественных обобщений, которая требовалась ему, чтобы довести сделанные открытия до сведения своих благополучных соотечественников и всего мира, конечно же, не вписывались в социальный миф *Australia Felix*^{*}, и Австралия социальных мифов не захотела узнавать себя в Австралиимифе, сотворенном художником, тем более что ни о каком «портретном сходстве» не могло быть и речи.

Итак, нобелевский лауреат — австралийский писатель, открывший миру Австралию, но в Австралии неузнанный и непризнанный. Другой парадокс — писатель отклонил эту честь и отказался получить премию, потому что ее не было у некоторых других авторов. О своем отношении он заявил еще до решения Нобелевского комитета: откажется «...хотя бы потому, что писатели, которых он считает неизмеримо крупнее себя, этой премии не сподобились — Джойс, Лев Толстой, Д. Г. Лоуренс, если назвать первые три имени, что сразу приходят на ум»^{**}. Соединение этих трех имен тоже достаточно парадоксально, особенно Толстого и Джойса (притом, что второй почитал первого): великий реалист, склонный к почвенничеству, сумевший передать дыхание земли и вселенной, могучий пульс неиссякаемого потока жизни, личность цельная и монолитная — и великий модернист, носивший Ирландию в сердце, однако покинувший ее, чтобы никогда туда не вернуться и умереть на чужбине, воссоздавший безумный и трагический фарс круговерти будничного существования, обретавшийся в сфере мифа и слова, личность рефлексивная, одинокая, обреченная попадать в тупик на избираемых путях. А еще парадоксальней то, что Уайт, полагавший для себя весьма плодотворным опыт мастеров русской классической литературы — Толстого и Достоевского не в последнюю очередь, — прямо указывал

* Благословенная Австралия (лат.).

** Приведено по кн.: Smith, Graeme Kinross. *Australia's writers.* — Melbourne, 1980, p. 297.

на Джойса и Лоуренса как на непосредственных литературных учителей, притом далеко и не только в области языка, стиля и композиции.

Биография писателя тоже складывалась парадоксально. Отпрыск по прямой линии почтенного семейства австралийских землевладельцев (его прадед купил ранчо в 1826 году), он умудрился появиться на свет (28.05.1912) во время кратковременного пребывания родителей в Лондоне. Среднее образование завершил в английской привилегированной школе-интернате для мальчиков, в Англии же закончил престижный Кембриджский университет. Объездил Европу и США. Годы войны провел в разведывательной службе Королевских военно-воздушных сил, служил в Африке, на Ближнем Востоке, в Греции, где изучал местные культурные и этнические традиции. По всем объективным данным Уайт подходил, таким образом, на ампула типичного представителя средневропейско-средиземноморской космополитической литературной богемы, однако в 1948 году он не только окончательно возвратился в Австралию, но первые годы после этого зарабатывал на жизнь трудом на купленной им ферме «Догвудс» под Сиднеем, пока исподволь вызревало и неспешно ложилось на бумагу прославившее его «Древо человеческое». Уайт не просто утверждает, он и личным примером подкрепляет верность «корням» — они становятся важнейшей категорией его эстетики, определяют самую судьбу художника-творца: «Австралийские писатели-эмигранты, как, впрочем, любые художники слова, в конце концов усыхают и гибнут, будучи оторваны от своей естественной среды обитания... [поэтому мой] совет художникам — держаться почвы, что их взрастила, будь то булыжник мельбурнских мостовых или забытые отбросами канавы Сиднея»*.

При этом слепок с родной земли, точные картины Австралии с ее характерным пейзажем, природными и климатическими контрастами и разгулом стихий можно

* "Australian Literary Studies", 1981, v. 10, № 1 (May), p. 99—100.

найти у Уайта, пожалуй, только в «Древе человеческом», самом полнокровном и масштабном его романе, если и не самом впечатляющем и проникновенном из его творений. В других же романах, повестях и рассказах* пейзаж (и не только австралийский) воспринимается не как объективная данность, а как некое пространственное продление душевного состояния персонажей. То, что ландшафт в книгах Уайта несколько смещен относительно реальности и поэтому обретает гротескные пропорции, подмечали как зарубежные, так и советские исследователи**. Образно говоря, уайтовские ландшафты — не «место действия», а само действие.

Философии и литературе известно различие между временем объективным (существует вне и помимо человека), биологическим, которое проживает тело, и субъективным, каким его ощущает и осознает каждый конкретный человек. Несовпадения и расхождения между тремя типами времени давали Прусту, Т. Манну, Джойсу, Борхесу, Кортасару и многим другим авторам XX века пищу для размышлений и тему для художественного исследования. Как свидетельствуют рассказы «Стакан чая» или «Клэй», Уайт тоже разрабатывает эту тему, однако исключительно в связи с другими, для него более важными. Его персонажи, помимо «субъективного времени», ощущают то, что можно было бы по аналогии назвать «субъективным пространством». Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к повести «Женская рука»: прозрачные, насквозь просматривающиеся дома-аквариумы на океанском побережье, выдающие разобщенность и самодовольство владельцев — состоятельных собственников или самодельная деревянная халупа бывшего корабельного механика Даусона («за окнами даусоновского дома всегда был виден ветер») многое говорят

* Последние представлены сборниками «Обожженные» (1964), откуда взяты четыре публикуемые новеллы, и «Попугайчики» (1974), куда вошла повесть «Женская рука».

** См.: Муравьев В. Австралийская сюита.— «Иностранная литература», 1976, № 1, с. 265—268.

о своих обитателях, но не меньше и о вступающих с этими домами в трудно определимую эмоциональную связь главных персонажах — среднебуржуазной чете сравнительно нестарых пенсионеров Феззерли. Однако и тут «место», как и «время», важно у автора не само по себе и не как самостоятельная художественная задача, но лишь как способ решения этой художественной задачи.

Главная художественная задача всего творчества Уайта — анализ средствами прозы многообразных связей человека с внешним миром и не всегда поддающихся уразумению, порою только интуитивно прозреваемых его связей с другими людьми и взаимоотношений с собственной личностью. Роман, естественно, наиболее подходящий вид прозы для решения такой большой, практически неисчерпаемой задачи, поэтому наиболее значительное и ценное из созданного Уайтом — именно романы. Однако и в меньших жанрах она или, по крайней мере, какие-то существенные выдвигаемые ею и входящие в нее проблемы ставятся и успешно решаются автором, как показывает эта книжка с повестью и рассказами Уайта.

Уже приходилось писать о том, что основными средствами общения, самовыражения и самопознания у персонажей Уайта выступают труд, телесно-духовное таинство любви и интуиция. Объективная ценность личности, то есть ее приближенность к идеальному, по Уайту, определяется тем, сколь важное место занимают эти факторы в жизни данного человека — по одному, вместе или в различных сочетаниях: ведь верховные для писателя нравственные ценности — доброта, самоотверженность и сострадание — опираются на понимание, а понимание возникает из общения и самопознания.

Читатель этой книги не преминет заметить, что ее персонажам понимание дается не так уж часто, что они в большинстве своем наделены совершенной в своем роде душевной глухотой и способны слышать большей частью лишь самих себя. Так, Хэрролд Феззерли, положивший долгие годы на преданное служение чужим интересам и

приумножение чужого капитала, и его жена Ивлин («Женская рука»), прожив бок о бок полжизни, все же не узнали друг друга и существуют как бы порознь, каждый в своем изолированном мирке — наподобие хозяев домов-аквариумов. Такова же супружеская чета из новеллы «На свалке» — советник Лесли Хогбен и Миртл Хогбен. Таковы тетушки юного Диониса, героя рассказа «Сосны Аттики», — остервенелая филантропка Урания, артистическая натура Талия и интеллектуалка Каллиопа; жена (Мадж) и мать (миссис Скеррит) Клэя, главного действующего лица одноименной новеллы; Янко Филиппидес, отмеряющий срок своей жизни по числу уцелевших из дюжины стаканов, но не склонный считаться с судьбами и жизнями близких («Стакан чая»).

Как и в романах, Уайт не устает подчеркивать, что угнездившаяся в человеке душевная глухота не просто несчастье или порок, но пагуба, проклятье и одна из самых отвратительных форм истинной безнравственности. Не по прихоти автора названные персонажи столь рьяно преданы нормативной морали буржуа с ее четко рассчитанными запретами и дозволениями и неукоснительной шкалой оценок; не случайно так истово блюдут они принятый социальный «протокол» и преклоняются перед нравственными прописями, когда примеряют их к другим людям, хотя себе самим охотно прощают отступления от них. Все это позволяет им ощущать себя высокоморальными личностями, вершить суд над ближними, вторгаться в чужую святая святых.

Лишенным творческого стимула разумного труда, не способным к любви и к озарениям, им, в изображении Уайта, остается самая «протокольная» форма общения — на языке прописей, шаблонов, общих мест, банальностей. На нем они выражают себя и классифицируют явления окружающей их жизни. Их общение — полые фразы, Гамлетовы «слова, слова, слова», однако их это не смущает: слова Мадж были «цвета опилок» («Клэй»), но других-то

им не дано. Скептически относящийся к возможностям языка, речи как орудия познания и самовыражения (еще один парадокс Уайта — блистательного художника слова), автор прекрасно понимает, как и каким образом речь превращается в средство маскировки невозможности общения и все той же душевной глухоты, и находит впечатляющие метафоры для того, чтобы раскрыть это свое понимание и дать ощутить его читателю: «В сущности, все трое сейчас были обнажены друг перед другом, застыли среди камней, точно статуи, и молчали, не способные укрыться за маской слов» («Женская рука»).

Самовлюбленность этих персонажей реальна, апломб и непрекаемость их суждений о ближних весомы, почти что материальны, однако их самодостаточность, как вскрывает Уайт, мнимая, ибо, непонимающие и закованные в броню эгоизма и предвзятого отношения к миру, они обречены на одиночество, их благополучие призрачно, а человеческие связи так же непрочны, как нитка, на которую нанизан жемчуг миссис Фезэкерли и которую ее муж разрывает в тщетной попытке заставить понять его: «Они то опускались на колени, то сами же топтали жемчужины, в беспорядочных попытках отыскать путь среди руин их совместной жизни». За ущербность сердца и духа они платят сторицей — одиночеством, утратой права самим рассчитывать на понимание и, как следствие того и другого, особенно острым ощущением присутствия смерти, как, например, в новелле «На свалке»: «Хотя умерла ее сестра Дэйзи, миссис Хогбен оплакивала не сестру, а свою смерть, которая только и ждет, когда можно будет пожаловать за ней самой». Таким же холодом огдает финал повести с его образно емкой формулой предельного одиночества: старение двух эгоистов в ледяной отчужденности и в постоянных разъездах, призванных заполнить пустоту, подарить иллюзию бегства от самих себя, утопить в суете какой-то ненужной лихорадочной деятельности видение рокового конца.

Можно понять, что и проклятые, с точки зрения писа-

теля, персонажи под его пером получают далеко не однозначную трактовку, что и они не лишены трагического начала и, не способные *видеть* сердцем, могут, однако, страдать. Последнее тем не менее не исключает авторского, а стало быть и читательского, суда над ними, и самым серьезным аргументом обвинения выступает результат их нравственной беспардонности — действие, поступок. Достаточно неприглядно уже то, что делают над собой они сами, но много чудовищнее, по мысли Уайта, то, как они поступают с другими. Слепота морали и чувств, как ее воспринимает писатель и какой рисует по конечным ее плодам, губительна во всех возможных смыслах слова. Особенно мерзкий облик она получает под пером автора в тех случаях, когда соединяется с удовлетворением инстинкта собственности, то есть когда волею социальных обстоятельств одно лицо получает возможность властвовать над другим, поставленным в подчиненное положение, — мать над сыном («Клэй»), тетки над племянниками и племянницами («Сосны Аттики»), муж над женою («Стан кан чая»).

И в романах, и в рассказах Уайта такие невольные жертвы воспринимаются как личности, во всех отношениях стоящие на несколько порядков выше, чем их умышленные или невольные «палачи». Отчасти это связано с присущим человеку и альтруистическим в своей основе свойством — охотно принимать сторону потерпевшей стороны, и тем охотнее, чем «сторона» безропотней и безответней. Но в большей мере, думается, тут заявляет о себе концепция автора, согласно которой принять страдание — неотъемлемая часть удела человека в мире, и чем ближе подходит человек к постижению этой истины, тем значительнее он как личность. Страдание же просветляет и рождает милосердие. Этот лейтмотив Евангелия постоянно варьируется в прозе Уайта, причем что отношения с Высшим Престолом у него очень своеобразные и называть его верующим так же неверно, как и атеистом.

Несомненно, однако, что представления об идеальном

восходят у писателя к евангельской традиции (возможно, переосмысленной в духе Ф. М. Достоевского): носители идеального начала у него — парии, изгои, убогие и сирые, чудаки, словом, люди «не от мира сего», а также дети — эти, правда, с известными оговорками. Иначе говоря, те, кто в социальном отношении находится в самом низу иерархической пирамиды, если вообще не обретается вне общества, и кто руководствуется в жизни голосом сердца, а не предписаниями и прописями «процветающего общества». К их числу относятся святые и визионеры. На страницах этого сборника читатель встретит таких сугубо уайтовских героев — это дичащийся людей Клем Даусон и новый Пигмалион — Клэй, плутающий в мире своих материализованных фантазий; Аглая, безотказная служанка при своих господах, и падшая в глазах уважаемого общества Дэйзи Морроу, спасающая людей от одиночества и отчаяния ценой собственной репутации, до которой, по чести сказать, ей решительно нет дела.

Совсем другая статья — дети. На роли святых они не годятся, поскольку Уайт пишет не сусальные символы «кротких сердцем», а настоящих девочек и мальчиков, демонстрируя при этом недюжинное постижение детской и подростковой психологии во всей ее непоследовательности, с мгновенными и вроде бы ничем не мотивированными сменами эмоциональных крайностей. Но в их словах и жестах — те же пронзительно «схваченные» и ненавязчиво переданные художником неограниченная внутренняя свобода и естественность порыва, какими отмечены характеры положительных (по Уайтовой шкале ценностей) его персонажей.

Свобода и естественность — качества, в которых автор отказывает страдающим душевной глухотой; поэтому именно эти качества — свидетельство отсутствия последней. Несвобода, скованность, предписанность и в силу этого даже некая предсказуемость внутренней жизни и поступков у одной группы персонажей вступают в контраст со свободой, раскованностью, естественностью и непредска-

зуюмостью других персонажей книг Уайта, и, как правило, вторые — как раз те самые, кого первые третируют, осуждают и списывают по разряду низших, недостойных, плохих. В произведениях настоящего сборника такие «пары» образуют: Миртл Хогбен и ее сестра Дэйзи Морроу, супруги Хогбены и муж и жена Уэлли, пробавляющиеся сбытом утиля («На свалке»); Ивлин Фезэкерли и Клем Даусон («Женская рука»); тетушка Урания и «безнравственная» кирия Ставриди («Сосны Аттики»); Констанция и Аглая («Стакан чая»).

Контрастность у Патрика Уайта, однако, необязательно несет в себе нравственную оценку, она не тождественна однозначности. Скажем, Констанция в своей несвободе и Аглая в своей свободе, как убедится читатель, одинаково правы или, напротив, неправы, да и сама свобода зачастую оказывается в книгах Уайта понятием относительным, зыбким, переходным: та же Констанция находит верный способ лишить Аглаю свободы, приковав обязательством к Янко Филиппидесу, только ведь и здесь все дело в том, как понимать свободу, — той свободы, что Аглая носит в себе, ее лишить никто не может. Или другая «пара» — Дионис и молоденькая содержанка Титина, дочка мадам Ставриди. Одаряя юношу своим участием и своим телом, Титина небезуспешно наставляет того в свободе и естественности. Трудно, порою очень трудно обосновать уайтовские сюжеты и характеры его персонажей с точки зрения формальной логики. Как «время» и «место» в его книгах, логика чувств и поступков тоже носит печать субъективности, парадокс правит и здесь. «Логика» развязки в рассказе, допустим, «Сосны Аттики» основана на том, что воспоминания Титины об отношении к ней Диониса в детстве разительно расходятся с тем, как оно было на самом деле.

Неопределенность положений, непроясненность мотивов, неуловимость сплетения лично случайного и социально закономерного, «открытость» концовок — все это органические элементы произведений Уайта. Как в жизни, в них

все непросто, нет и намека на однолинейность. Отсюда — усложненность его манеры, присутствие нескольких перемежающихся стилистических «пластов», колебания в рамках одного и того же произведения («На свалке», к примеру, или «Клэй») интонаций повествования — от фарсовых до высокотрагедийных. Отсюда и прихотливая композиция его романов, повестей и рассказов, связанная с перебивами во времени и пространстве, свободным переключением повествования из настоящего в прошлое и обратно и требующая особо ювелирного монтажа, немислимого искусства «стыковки» разновременных, разноместных и даже разномастных кусков текста, да еще и так, чтобы сюжет развивался плавно и без помех, не буксуя на композиционных «швах». «На свалке», «Женская рука», «Стакан чая» — образцы такого искусства.

Преимущество такой композиции как художественного приема заключается еще и в предоставляемой ею возможности выхватить из потока будней и при необходимости сопоставить переломные для человека минуты становления или видоизменения характера, личности. Эти минуты могут связываться автором с переживаниями горькими, неприятными, подчас отталкивающими или же просветленными, прекрасными. В любом случае сила изобразительного решения наделяет их графической четкостью картины, вырванной из мрака молнией или фотовспышкой. Такими отпечатываются они в памяти персонажей: благодатный вкус сорочьего яичка на губах школьника Хэролда Фезерли, вкус защищенности, уверенности и дружбы, — и скотская в своей грубой откровенности схватка Хэролда с женой в номере гостиницы, открывшая ему, что одиночество вдвоем хуже смерти...

Снискавший репутацию автора неудобного, чтобы не сказать жестокого, Патрик Уайт действительно склонен называть вещи своими именами и писать трагикомедию бытия с ревностью и усердием беспристрастного летописца. Но в этой трагикомедии по законам жанра есть, помимо горя, гротеска и фарса, эпизоды очищающей духовной

встряски, и писатель воссоздает их с такой же ревностью и взыскательностью мастера. Несовершенства человеческой природы и пошлость социального «быта» не скрадывают, а, напротив, оттеняют для Уайта непреходящую духовную ценность таких нечастых прорывов в высоты, наполняющих существование смыслом и красотой. Все же вместе сообщает его прозе достоинство взвешенного, честного и выстраданного свидетельства о человеке.

В. Скороденко

Женская рука

Повесть

Ветер бушевал среди скал, сметал отражения с листьев зеркальных кустов, терзал извечных мучеников — местные деревья. Некогда суровый ландшафт — вырвавшаяся к морю длинная скалистая гряда и вечнозеленые заросли — теперь был лишен своего естественного выражения из-за чуждых ему домов, что лепились к скалам так же упорно, как воск к больным ветвям апельсиновых деревьев. Не то чтобы дома эти, почти все, были неприятны на вид, в иные, хоть бы и в «Очаровательный приют», стоило вломиться. Владельцы, конечно же, сознавали это и, однако, выставили напоказ за цельным зеркальным стеклом чуть не все свое достояние. Им явно хотелось любоваться открывающимся видом, но в конце концов, похоже, он стал их угнетать. Или прискучил. Владельцы очаровательных прибрежных домов сидели в своих отнюдь не монастырских обителях и играли в бридж, слизывали с пальцев шоколад, а в одной занимались любовью на широченной постели, покрытой розовым шенилем.

Ивлин Феззерли отвернулась. Во всяком случае, день, можно сказать, божественный. Она запыхалась, так быстро шел Хэрролд, да и воздух был пронзительно резкий.

— Шел бы помедленней, — предложила она, желая напомнить о себе. — Ты ж на пенсии.

Подобные замечания Хэрролд пропускал мимо ушей. В их браке такого предостаточно. И нет в этом ничего неприятного.

Быть может, оттого, что ему пришлось уйти на пенсию так неожиданно, так внезапно, в это с трудом верилось,

и он искал спасения в постоянной смене мест, хотя было у них и свое пристанище — они снимали квартиру.

Ивлин опять покосилась на зеркальные окна теснящихся друг к другу домов. Слепящий свет, что заливал все вокруг, и физическая усталость от необязательной, но целительной прогулки всколыхнули в ней жаркую волну желания, какую могут вызвать лишь причины материальные.

— До чего вульгарно все это выглядит, — сказала она.

И ее сразу отпустило.

— Что плохого в роскоши?

Если голос Хэролда прозвучал устало, виной тому не усталость от прогулки — физически он по-прежнему в отличной форме, — но воспоминание о лепнине в новотюдорском стиле напротив их квартиры в новотюдорском стиле.

— Ну послушай! — сказала Ивлин. — Есть же определенные нормы, тот, кому они известны, не вправе ими пренебрегать.

Ивлин они были известны. И Хэролду тоже. Да только его не очень это заботило.

Опять он ломал голову все над той же загадкой — как ему, пенсионеру, теперь жить. Прежде он обычно говорил: когда уйду на пенсию, стану читать книги, которые купил и так и не прочел, перечитаю «Войну и мир» и, быть может, пойму Достоевского. Возможно, напишу что-нибудь сам, что-нибудь солидное, достоверное — о хлопке в Египте или путевые записки. Быть может, статью-другую для «Черного леса». Меж тем на пенсии все оказалось совсем иначе. Уж скорее это походило на затянувшееся ожидание мига какого-то откровения или свершения, независимое от книг, от чужих умов и лишь отчасти зависящее от самого себя.

Повезло ему, что есть Ивлин.

— По-твоему, эта дорога куда-нибудь ведет? — спросила она и улыбнулась окружающему их простору.

Хотя ее можно было ошибочно принять за женщину слабенькую и ей нравилось воображать, будто она нуждается в защите и опоре, была она скорее не хрупкая, а выносливая, жилистая. Правда, иной раз, когда подвергалась испытанию

ее чувствительность, у нее болела голова, но физической усталости она почти не знала. Ее беда в том, заявляла она, что она никак не найдет, чем занять свой неугомонный ум. Сидеть сложа руки она не способна. Пожалуй, следовало бы заняться благотворительностью, затеять что-нибудь вроде Столовых на колесах. Она умеет разговаривать с пожилыми людьми, и такое испытываешь удовлетворение, видя по их старым лицам, что тебе признательны за совет.

— А почему бы ей не вести куда-нибудь? — спросил Хэролд.

— Прошу прощения?

— Я о дороге. Сегодня день загородной прогулки, верно?

— Да, — сказала она. — Такое у нас было намерение.

В закусочной, на шоссе, в саду с декоративными каменными горками, им подали отвратительный второй завтрак — обуглившиеся отбивные и зажаренный банан, сваленные вместе на лист салата-латука. После этого только и оставалось пойти по одной из боковых дорог.

Ивлин нарвала букетик трав и глубоко вдохнула их аромат, слишком глубоко, так что мгновенно перенеслась в ту пору, когда еще мало что понимала.

— Да, — сказала она, — нам повезло, о еде можно не беспокоиться. И о климате. Австралийский климат. Представляешь, окажись мы на месте Бердов. Заправляли бы этой жуткой станцией обслуживания. Не говоря ни о чем другом, в долине Темзы такая сырость.

Хэролд все шел упругим шагом, под ногами похрустывал песок. Ивлин ощущала приятный запах трубочного табака. Она предпочитала общество мужчин по той простой причине, что любила нравиться. Женщинам не нравилась ее прямота.

— Выходит, хорошо, что мы австралийцы, — сказала она.

Но опять кольнуло ощущение вины. И она уткнулась подбородком в букетик серебристых трав.

— Как по-твоему, Уин Берд и правда работает на этой их станции обслуживания? — спросила она как бы между прочим. — Заливает бензин в чужие машины?

— Если так она тебе написала.

— Иные женщины не слишком правдивы,— сказала Ивлин.— А Уин, сам знаешь, всегда была склонна все драматизировать,— она сказала это со смешком, какой приберегала для тех, с чьими недостатками вынуждена была мириться.

Похоже, Хэролда это ничуть не трогает.

— Все равно, заливаает она бензин или нет, просто думать об этом не могу,— продолжала Ивлин.— Уин и Дадли — на станции обслуживания!

Она скорбно сжала губы, словно беда эта приключилась с ней самой.

— Большинство попало в такой же переплет,— сказал Хэролд.— Большинство англичан... После Суэца.

— Но ведь Берды многое могли продать и купить,— возразила Ивлин.— Одна эта лестница, которую они вывезли из Италии, наверно, стоила больше всего, что было у других.

Она намеренно не включила в их число себя с Хэролдом.

— Ну до чего была прелестная лестница! — вздохнула она.— Розового мрамора.

Приглашенные поднимались по розовым ступеням, Берды встречали их наверху — одних с заученной сердечностью, других с иронией, замаскированной под тактичность. Ивлин, женщина неглупая, все это понимала и всегда радовалась, что над ней Уин и Дадли не иронизируют. Оттого что Хэролд управлял их делами в стране с населением неподходящего цвета кожи, она была, можно сказать, членом семьи Бердов.

Уин Берд получала наслаждение от приемов. Она не могла устоять против маскарадного костюма. Ее красивые длинные бедра и ноги были созданы, чтобы выставлять их на показ, и она этим пользовалась. Взять хоть червонного валета из золотой парчи в год, когда Богач проявлял к ней слишком горячий интерес. Несмотря на скандал, Уин, наверно, была безмерно довольна, что пренебрегла такой персонной. В то лето, когда Фезэкерли проводили свой затянувшийся отпуск в Австралии, Уин настояла, чтобы Ивлин взяла

с собой червонного валета: он так пригодится на пароходе, а потом можно его кинуть за борт. Ивлин согласилась только потому, что не умела отказывать. Хотя, конечно же, она никогда не носила ничего такого вызывающего, уж не говоря непристойного, как никчemuшная туника Уин. И во время плавания и после Ивлин с грустью думала о щедром подарке их работодательницы, стараясь при этом не вспоминать о своих всегда довольно тощих бедрах. Когда плавание закончилось, она костюм продала.

— Может, Уин и сумеет приноровиться к заправочной станции,— сказала она Хэролду.— Есть в ней эдакая жилка. Не то чтобы вульгарность. Грубоватость. Наверно, люди правду говорили.

— О чем?

— Да ты знаешь. Что была хористкой.

— Не помню,— сказал Хэролд, а она уверена, он помнит.

— Бедняжка Уин, сердце у нее золотое. Но до чего ж некрасива!

— Физиономия козья, а фигура — что тебе статуя. Не всякой женщине такое везенье.

— Ох, Хэролд, разве можно так!

— А что особенного? Иные мужчины равнодушны к козам и даже, говорят, к статуям.

— Ох, Хэролд, это ужасно! Это извращенность!

Но она была рада. Рада случаю произнести словечко из языка посвященных.

Дома преуспевающих владельцев, рассыпавшиеся по горной гряде, казалось, подпрыгнули, одобряя ее веселую умудренность. Но дома явно встречались все реже. Да к тому же из расщелины подул ветер, и ей стало холодно. Вспыхнувший было смех дрогнул и погас.

— Я очень надеюсь, войны не будет,— сказала Ивлин.

— С чего это ты вдруг?

— Из-за моих скромных капиталовложений, разумеется. Хороши бы мы были без них.

— В пиковом положении, как все прочие.

Спорить Ивлин была не готова. Что бы там Хэролд для себя ни решил, а она — не прочие.

Дорога превратилась в едва заметный рубец на песчанике понизу все некончающегося кряжа.

— Вот видишь, я говорила, она заглохнет,— сказала Ивлин.— Кому взбредет в голову строиться на такой бесплодной земле, разве что совсем чокнутому.

Потом, на последнем всплеске исчезающей дороги, глазам представился исхлестанный непогодой дощатый домишко.

— Кто-то здесь все-таки поселился,— сказал Хэролд.

— Что? Здесь? В такой лачуге!

И вправду, деревянный домишко иначе как лачугой не назовешь. Он притулился прямо к скалистому утесу, и сработали его, видно, без намека на свободу и мастерство. Этот беззащитный плод неумелых усилий возбудил в Ивлин яростное презренье. А Хэролда непринужденность, что ощущалась в неуклюжих пропорциях, в кривой, хлипкой деревянной лестнице и открытой в сторону моря веранде, растрогала, пробудила тоску по чему-то, что никогда ему не давалось. Наверно, с таким же успехом можно увидеть в этом домике и лачугу или представить, как ворочатся на соломе большие мягкие звери или огромные шелковистые птицы созерцают океан из-за деревянных перекладин. Воображение часто его выручало, хотя жене он никогда бы в этом не признался.

Но тут действительность озадачила Хэролда Фезэкерли.

На наружной наклонной лестнице возникла голова, лицо, широкие плечи заслонили крышу, дорогу, и человек заглянул в почтовый ящик, при этом явно не ожидая никаких писем.

А потом все с тем же выражением сомнения и надежды лицо неизвестного обратилось к путникам.

И тут Ивлин услышала, как ее муж не позвал — скорее проговорил растерянным, не своим голосом. Дико было слышать этот тонкий голос от такого Хэролда:

— Клем! Клем, ты? Даусон?

На красном, обветренном лице под жестким ежиком волос выразилось застенчивое признание. Ивлин пришла в

ярость. Слишком много об этом человеке она знала наперед. Тугодумы вызывали в ней бешенство, почти такое же зримое, как кровь. О да, она знала!

Хэролд запинаясь от волнения.

— Ивлин, помнишь Клема?

И он обернулся к жене.

Пораженная, она увидела: он вдруг помолодел. Нет, спешить ей незачем.

— Клем Даусон?

Она могла бы гордиться своей неспособностью вспомнить.

— «Симла». «Непал», — подсказывал Хэролд.

И вот смутно, со вздохами она стала припоминать, позволила себе припомнить грузного инженера-механика на одном пассажирском пароходе, потом на другом. С тех пор солнце и ветер изрядно его подсушили. В те дни, в жаре и духоте машинного отделения, он был румяный, лоснящийся, точно сдобный пирог. Плотный. Позже, на берегу, она могла бы узнать его лучше, но ей это не удалось.

— А, да, конечно.

Независимо от своих чувств приходится соблюдать приличия, и Ивлин пустила в ход свои чары. Но корабельные механики всегда были ей не по вкусу. Начальники интендантской части в нынешние времена почти все народ компанейский, старшим помощником капитана иной раз можно и плениться, а механики, даже когда заказывают на всю компанию коктейль «Дама в белом», кажется, все равно пребывают в недрах корабля со своими двигателями, или как оно там называется.

— Вот, оказывается, где вы спрятались! — Ей хотелось, чтобы это прозвучало как милая шутка.

— Да, — сказал Даусон.

Он не пробовал оправдываться, хотя его крепко сбитое тело, опирающееся на шаткие перила, чуть подрагивало. Будто под ударами ветра, но от ветра он укрыт своим нелепым домом. Ивлин позволила себе представить, как в других обстоятельствах он почти так же стоял, держась за манговое дерево.

И потому, взглянув на него сейчас, сказала:

— Не припомню, сколько же прошло времени с тех пор, как мы взяли вас с собой в Дельту?

— Довольно много,— пробормотал Даусон, толстыми волосатыми пальцами перехватив перила.

Он казался еще топорнее из-за короткой стрижки, без сомнения, таким способом надеясь сделать менее заметной лысину. От этого глаза казались еще синее, лицо нелепей и незащищенной.

В сущности, все трое сейчас были обнажены друг перед другом,— в молчании застыли среди камней, точно статуи, не способные укрыться за словами.

Но вот Хэролд прервал неловкое молчание с той непосредственностью, которая сперва огорчила Ивлин, но она тут же решила, что это проявилась его истинно мужская наивность.

— Послушай, Клем,— сказал Хэролд,— не пора ли показать нам твое убежище? Полагаю, ты его сам строил.

Даусон засмеялся. Повернулся. Повесив голову, все еще привычно покачиваясь, зашагал по деревянным ступеням. Хоть он ни слова не сказал Хэролду, но, совершенно ясно, это и был его ответ.

Как он и ожидал, Фезэкерли последовали за ним.

— Но до чего *удобно!*

Еще не переступив порога, Ивлин избрала линию поведения. Так это просто. Так она это умеет. Обращаться с застенчивыми, наводящими скуку мужчинами.

— Неужели вы и *это* сделали сами! Этот хитроумный шкаф с вращающимися полками!

Даусон перехватил ее руку в перчатке, сжал крепко, до боли.

— Только пальцем,— предупредил он.— Довольно чуть тронуть.

Ивлин могла бы обидеться, но уж слишком пустячный был повод. И она просто прошла дальше.

— А это что? — спросила она.— Эта сюрреалистическая штукавина из проволоки?

— Одно из моих изобретений. Вынимать яйцо... автоматически, как только сварится.

— Но до чего занятно!

Или жалостно:

— Вот бы Хэролду хоть долю вашего таланта. Сейчас, когда мы остались не у дел, он только грозит, что будет читать, да никак не раскачается.

Она взглянула на мужа, словно прося прощения за ранку, что ее угораздило ему нанести. Но он, кажется, ничего и не почувствовал. Мужчины много чего не замечают.

В кухне все как полагается. От гостиной она ждала большего, думала, там должна полнее ощущаться личность хозяина, ведь увидеть спальню надежды нет. Но гостиная разочаровала. Слишком здесь голо, слишком слепяще. Два кресла в чересчур тесных чехлах. Письменный стол, на нем два-три инструмента, которые ей вовсе не интересны, пузырьки с цветными чернилами, книга — похоже, словарь. Даже ни единой фотографии. Ивлин любила сравнивать фотографии с оригиналом, а еще того больше любила загадочные фотографии.

Но вот на уродливом желтом столике корзинка с шерстью. И на яйце для штопки натянут носок. Обманутая было надежда вновь вспыхнула.

Вскоре Даусон уже поил их чаем, как и следовало ожидать, очень крепко заваренным, в белых толстого фаянса чашках, в которых, едва чаю поубавилось, обнаружился по внутреннему краю коричневый ободок от танина. Хэролд сосредоточенно пригнулся к своей наклоненной чашке, по серым глазам, честностью которых Ивлин всегда гордилась, она с досадой увидела — он озадачен какой-то мыслью, никак не решится высказать ее вслух.

— Ну и чем же ты тут занимаешься?

Можно подумать, ему неловко обсуждать при жене такие сугубо личные дела.

Даусон теребил пучки волос на пальцах. Потом глубоко вздохнул и обратил на Хэролда взгляд пронзительно голубых глаз.

— Сижу и смотрю на море,— прямо ответил он.

Похоже, этот ответ несколько не удивил Хэролда, но Ивлин чуть не задохнулась от возмущения, будто услышала нечто непристойное.

— Но оно такое пустынное. Почти все время. Разве что пройдет какой-нибудь неинтересный корабль. Корабль только тогда интересен, когда сам на нем плывешь,— ухитрилась она проговорить.

Мужчины пропустили ее слова мимо ушей.

— Тебе повезло, что ты это умеешь,— продолжал Хэролд.

Будто Ивлин тут и не было.

Даусон заемеялся — словам Хэролда. Смех прозвучал неожиданно мягко.

— Не сказать, что это далось само собой. Поначалу.

— То-то и оно,— сказал Хэролд.— Но начало и есть самое трудное.

Потом Даусон подался вперед и спросил:

— А как стихи, ты ведь тогда писал?

Ивлин подняла голову.

— Стихи? — чуть не со страхом спросил Хэролд.

— В школе.

— А, да. В школе это было.

Ивлин слегка покачивалась на стуле.

— То было начало,— подсказал Даусон.

У Ивлин разболелась голова. Она, конечно, знала, давным-давно слышала, что Клем Даусон и Хэролд вместе учились в частной подготовительной школе. Голова — это от ветра, а может, от скуки, что всем своим существом источает хозяин дома.

— Подумай, ты помнишь про стихи,— сказал Хэролд и засмеялся.— А я забыл.

Он не забыл.

Хэролд Фезэкерли, долговязый мальчишка с торчащими ушами и вечно синими, потрескавшимися от холода руками, своими ни на что не похожими каракулями писал стихи и

прочее на клочках бумаги и всегда тряся от страха, вдруг они разлетятся, попадут кому-нибудь на глаза, иди тогда объясняй, что это такое. А он не способен был объяснить и половины того, что у него получалось. Но в ту пору он не мог не писать. Позднее, когда он сумел разобраться в своих ощущениях, он понял: те подросточьи пробы пера были для него точно горячий душ в холодный день или мягкий стул в теплое утро. В то время его часто по нескольку дней мучили запоры. Стихи, казалось, утишали его страхи.

Всю зиму пронизывающий ветер истязал школу. Но летом, когда вновь появлялся дикий виноград, и лавровые деревья покрывались толстым слоем пыли, и от бурлящих писсуаров поднимался запах дезинфекции, жизнь буквально подавляла мальчишек своими возможностями.

Полно было сплетен. Хэролд Фезэкерли плохо в них разбирался. Они его пугали. Не хотел он, чтобы ему растолковывали, что к чему, избегал тех, кто готов был его проследить.

Клем Даусон был этакий молчаливый мальчишка, чуть постарше и много крепче Хэролда — толстые лодыжки выпирают из пестрых шерстяных носков, коленки вытарчивают из бриджей. Клем, вероятно, рано начал бриться. Держался по большей части особняком, но с одиночеством справлялся. Ни к чему и ни к кому не питал неприязни, хотя кто или что ему по вкусу, понять было трудно — разве что птичьи яйца, поджаренный хлеб и травка, которую можно пожевать. Станный он, вероятно, был, да и вправду странный, с таким за дверями школы и встречаться постесняешься.

Но вот однажды после полудня, когда в воздухе попахивало дымком, Хэролд Фезэкерли подошел к нему и показал два своих стихотворения. И Клем Даусон прочел их и отдал обратно. Он улыбался. У него были широкие зубы с щербинками внизу.

— Они нипочем не поймут,— сказал он.— Больно мудро сочиняешь.

И Хэролд Фезэкерли тотчас успокоился. Притом у них появилась общая тайна; пожалуй, этого он и хотел.

Ничего между ними не было, ничего такого, чего можно бы стыдиться. Ничего Хэролд такого не делал, а какие-нибудь пустяки ведь не в счет. Ничего предосудительного, как выразился бы он потом, в дни, когда писал сообщения для печати. С Клемом, во всяком случае, такого не бывало.

Иногда они слонялись вокруг загонов в поисках гнезд. Как сиял Клем ясным весенним утром, стоя по щиколотку в жухлой траве, когда о морщинистую кору могучего дерева разбивал для Хэролда яичко сороки. К губам больше чем друга подносил пятнистую скорлупу яичка, пронизанную красноватым трепещущим светом.

— Мой высокоинтеллектуальный супруг не раскрыл секреты, очевидно известные вам обоим.

Ивлин Фезэкерли изогнула губы, полузакрыла глаза, всем своим видом подчеркивая, сколь тонкая ирония скрыта в ее словах.

Ветер, поутихший было из уважения к воспоминаниям, вновь принялся терзать комнатенку, где они сидели. Примопившийся на скале над морем домишко сейчас казался особенно ненадежным.

Ивлин взглянула на Хэролда и простила ему боль, которую он, быть может, ей причинил. Она всегда легко прощала.

Она даже повернулась к Даусону и спросила:

— Мы с вами еще увидимся?

Хотя ему-то она простила лишь наполовину. Сейчас она его поставила в неловкое положение. И знала это. Сделала это намеренно. Так всего лучше разрубить узел. И Даусон повозил по полу резиновыми подошвами и напряженно улыбнулся, даже не Хэролду, своей комнате.

— Боюсь, нам не заманить Клема в нашу чудовищную квартиру,— сказал Хэролд.

На взгляд Ивлин, это было сказано с излишней искренностью, однако она подыграла ему:

— При моей-то стряпне! У нас теперь, знаете, никакой эмансипации.

Легкая горечь этих слов была ей сладостна.

— Я к вам загляну. Как-нибудь. Пожалуй, — с трудом выговорил Даусон, но под конец запнулся.

Никому, казалось, и в голову не пришло дать или взять адрес.

Хэролд Фезэкерли, видно, опять маялся, пытаюсь поймать все ту же упорно ускользающую мысль. Никогда еще жена не видела его таким землисто-бледным, словно выцветшим от блеска океана, усохшим и хрупким в сравнении с податливым спокойствием Даусона. Неужели придет час, когда Хэролд перестанет быть мужчиной?

Всерьез Ивлин об этом не задумывалась, слишком страшные то были мысли, однако часто отваживалась пожелать себе пережить мужа, чьи мужские достоинства и по сей день влекли женщин. В сущности, ей грех жаловаться, ведь она сама этому способствовала, то подобрав ему что-нибудь эдакое из одежды, то множеством иных, более интимных способов, возьмет, например, своими маникюрными ножничками подрежет прихотливый волос, который выбился из усов или торчит из ноздри.

— Я что хочу сказать, Клем намного лучше подготовлен к жизни на пенсии, чем большинство из нас, — нудно твердил Хэролд. — Я что хочу сказать, он умеет просто сидеть без всяких занятий. Он умеет думать.

Да нет у него в голове ни единой мысли. Стоит только поглядеть на него. Или, может быть, мужчины, особенно когда они вместе, испытывают что-то, чего женщинам испытать не дано?

Ивлин пристальней взгляделась в Даусона, и увиденное еще сильнее прежнего ей не понравилось. Если как следует в него потыкать, наверно, окажется, он из упругой резины.

— Мистер Даусон, конечно, устроился очень удобно. Прелестно. Этот уютный домик. Все его изобретения. Одна яйцеварка чего стоит. Но порой, наверно, все-таки одиноко.

Ивлин не сомневалась: вот теперь она попала в точку.

Тут Даусон взглянул на нее — впервые взглянул, во всяком случае впервые с тех давних пор, когда они стояли под манговым деревом в курящейся дельте Нила.

— Время, проведенное в одиночестве, никогда никому не шло во вред.

— Ну, раз вы так уверены,— сказала Ивлин.

И поднялась, смахнув с подола несуществующие крошки — ведь их не угостили хотя бы покупным печеньем.

Впрочем, поднялись сразу все.

— Приятно было повидаться, Клем,— говорил Хэролд Фезэкерли.— Нам надо переписываться. Не терять друг друга из виду.

Для большей убедительности он взял Даусона за локоть, но тот стоял повесив голову: не верил он, что это возможно. Старше Хэролда, полнокровный, с отросшим брюхом — похоже, его в его одинокой жизни вот-вот хватит удар,— он теперь казался младшим из них. Ивлин не знала, довольна ли она этим. Глядя на юношески статного Хэролда, она часто склонна была и себя считать молодой. Сейчас стать не молодила его.

Они ухватились за перила шаткой наружной лестницы над пригнувшимися к камням травами и злополучными кружащимися под ветром фуксиями, и на Ивлин вдруг снизошло милосердие.

— Куда писать,— начала она, прорываясь сквозь налетающий со всех сторон ветер,— как нам связаться с вами?

— Просто напишите «Даусону»,— был неправдоподобный ответ.— «Даусону»,— повторил Клем.— «Пестрый пляж».

Хэролд Фезэкерли стоял на рыхлой дороге, ветер задувал ему в брюки, спиралью закручивался вокруг ног, а он мысленно представлял себе огромных допотопных зверей и огромных шелковистых птиц, важно озирающих океан из-за деревянных решеток. Со столь далекими от нас тварями можно общаться в молчании, которого нам всегда недостает.

Однако с Даусоном он все-таки немного пообщался, с надеждой подумал Хэролд.

Всю дорогу, особенно в автобусе, Ивлин без конца твердила, как прелестно они провели день.

— Да,— согласился он наконец, ведь от него этого ждали,— и какая удача повстречать старину Клема.

— Он мне нравится,— сказала Ивлин, вызываяще выставив подбородок.

Хэролд пропустил это мимо ушей. Возможно, полагал, что, кроме него, никто не способен оценить Даусона по заслугам.

— Завидую Клему,— сказал он.

— Ты что? — Ивлин даже задохнулась.

— Он счастлив.

— Вот еще,— возразила Ивлин.— А мы разве не счастливы?

— Да,— согласился он.— Из окна не очень дует?

Ивлин покачала головой, бросила на Хэролда мечтательный взгляд — в нем еще сохранилось кое-что от ее девичьих чар.

— Воздух такой прелестный,— сказала она; уж так она решила: в этот день все должно быть прелестно.

Их везли, потряхивая, мимо разбросанных по берегу крохотных домишек, что поджидали еще не докатившуюся сюда приливную волну.

— Не сказала бы, что так уж он счастлив. В этой его лачуге. Со всеми этими никому не нужными штучками.

— Почему?

Хэролд не отодвинулся, только от движения автобуса его иной раз подбрасывало на бугристом сиденье, но Ивлин почувствовала, он весь напрягся, внутренне отшатнулся от нее.

— Потому что... ну... там недостает женской руки,— сказала она.

И глянула на свои руки, чинно затянутые в перчатки. Какие там у нее ни есть несовершенства, а руками можно гордиться. Во время чуть ли не бесконечного плавания из Коломбо во Фримантл один художник попросил разрешения их нарисовать и уговорил ее — Хэролду это было известно.

Но сейчас он незаметно отодвигался, наконец выпрямился и довольно неуклюже, вызываяще переменял положение.

— Не понимаешь ты таких людей, как Клем Даусон,— выпалил он.

— Ну, значит, не понимаю,— решила она согласиться.

Ведь уступить в споре значит подтвердить, что ты разумнее.

Хэролд, казалось, этим удовлетворился, и так и должно быть. Никто не мог бы усомниться, что и теперь, когда жизнь у них стала убогая, она ему преданнейшая жена, в широком смысле слова, как в прежние добрые, более благополучные времена, в пору силы и почета. Когда Египет стольким женщинам вскружил голову.

После первой мировой войны Хэролд Фезэкерли вернулся в Египет. Его друг, Дадли Берд, сдержал слово. Сперва отец Дадли, потом он сам давали Хэролду Фезэкерли работу. Были они скорее друзьями, чем работодателями, хотя Ивлин постоянно утверждала, что дружба вовсе не такое растяжимое понятие, как хочется верить Хэролду. Однако он привык обращаться к своему работодателю по имени и, не ожидая приглашения, наливал себе из графина: а Дадли Берда, казалось, забавляло, что управляющий у него австралиец и его, Дадли, жену называет «крошка».

Для богатого и высокопоставленного англичанина вроде Дадли Берда очень даже мило и занимательно — сдобрить свою речь колониальным словцом, но Ивлин терпеть этого не могла. Долгое время ей не удавалось держаться с Бердами просто по-приятельски, чего они, видно, искренне хотели. Стакан джина у нее в руке дрожал. Волнуюсь с непривычки, решила она: какое мученье представлять, что цвета в ее одежде негармоничны или что на званых обедах она допускает какие-нибудь промахи, а в речи ее чувствуется австралийский выговор.

— Ох, нет, сэр Дадли, — могла она сказать. — Спасибо. Право слово. Лучше я не буду. Понимаете, не каждая австралийка умеет ездить верхом. — И прибавила, хихикнув: — И не у каждой чувствуется австралийский выговор.

Противно было слышать свое хихиканье. Но запах джина придавал храбрости, заглушал собственную неотесанность. И надо признаться, приятен был слабый запах кожи, и пота, и лошадей, и едущих верхом мужчин.

Или Уин: эти неотступные, всепоглощающие, сменяющие друг друга запахи Уин Берд.

— Ив, дорогая, ну какие зануды эти Роклифы, набиваются на обед! А куда веселее наджиниться вдвоем и потом блаженно погрузиться в сон. Впрочем, вы не пьете, Ивлин?

— Нет-нет, леди Берд! Не беспокойтесь, мне и так прекрасно, очень.

Опять это хихиканье. А ведь она не дура. Пожалуй, не дурее леди Берд.

Берды давно предложили, чтобы она не называла их сэры и леди. Но не могла она себя заставить. Раз уж не начала сразу, потом получилось бы неестественно и она бы только чувствовала себя неловко.

И, пожалуй, приятно произносить эти титулы.

— Это так ужасно мило с вашей стороны, леди Берд... Да, леди Берд... Мы бы с превеликим удовольствием.

Потому что Уин, бывало, позвонит и невнятно, полупьяным голосом спросит, не хотят ли Ивлин и Хэролд провести субботу и воскресенье в Дельте, что означало: дом в поместье, как его называли англичане-нахлебники Бердов, в вашем распоряжении. Поначалу Ивлин была счастлива возможностью свободно пользоваться этим домом, только вот надо было остерегаться, не высказать девчоночьего, плебейского восторга, а пуще всего следить за своей речью. Она ведь не Уин Берд, чтоб так пренебрегать грамматикой и произношением. Только английской знати любое преступление сойдет с рук.

Порой, когда Хэролд получал отпуск, чета Фезэкерли проводила в поместье неделю-другую. Бердам там было скучновато, они предпочитали Эгейское море и роскошь продуманно простого, переделанного по их вкусу каика. Но Ивлин, несмотря на египтян и мух, решила полюбить Дельту. Чувствовала себя знатной госпожой, владелицей бердовского, почти спартанского, зато прохладного, со ставнями на окнах, беленного известью дома. С полосами земли, что тянулись между каналами. И манговыми деревьями со множеством тошнотворных плодов.

— Ну что бы им завести хоть новые диваны и кое-какие современные удобства,— пожаловалась однажды Ивлин.— Матрацы совсем никуда, будто лежишь прямо на земле.

Хэролду пришлось оправдывать Бердов:

— Им нравится иногда пожить неприхотливо.

— Можно понять,— согласилась Ивлин.— Если потом возвращаешься к такой роскоши, как розовый мрамор.

Но даже без преимущества, какое давала мраморная лестница, Ивлин Фезэкерли брала свое в роли хозяйки — стоя, например, в дверях, отделяющих столовую от кухонных помещений, она хмурилась и кричала слуге: “Gibbou wahed foutah, Mohammed!”*

— Дорогая, ну почему англичане должны кричать на иностранцев? — скажет, бывало, Хэролд.

— Но я не кричу,— возразит Ивлин.— Просто хочу, чтобы меня поняли. И какие же арабы «иностранцы», выходит, по-твоему, они не хуже европейцев? Я вовсе не поклонница европейцев! Они там у себя в Европе... знаем мы их... но я ни с одним не знакома и вовсе не жажду знакомиться.

— А может быть, это ограниченность?

Ивлин взглянула на него. Оттого что он был в нее влюблен, у него это прозвучало чуть ли не как добродетель. И она успокоилась.

— Меня осудили,— мягко сказала она и опустила глаза на тарелку с жирным фасолевым супом.

Ивлин Фезэкерли была тоненькая. Она любила носить белое. В задумчивой полутьме старого особняка Бердов, в этом ленивом, дышащем жаркими испарениями краю, она чувствовала себя духом прохлады. Только вот были бы руки не так тонки да не так заметны поры на безукоризненно гладкой коже.

Но ее могущество позволяло забыть о подобных мелочах. Ее изумляла, даже корбила страсть, которую она, видно, будила в муже в эти душные летние месяцы.

— К тому времени, когда настает октябрь, я совсем

* Принеси салфетку, Мухаммед! (египетск. диалект. искаж.). (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

разбита, я прямо александрийская блудница,— говорила, бывало, Уин Берд.

Уин, разумеется, была экстравагантна во всех отношениях. Могла себе это позволить.

Однажды летом, когда они были еще сравнительно молоды, Берды предоставили чете Фезэкерли дом в Дельте, захотели, чтобы те получили неделю передышки. Ивлин это больше не радовало: опять будет все то же — манговые деревья, темные комнаты, запах и, еще того хуже, вкус примуса, египтянки в черном плывут по каналам и смеются, а над чем, никогда ей не узнать, только и перемен что Мухаммеда заменили Мустафой, а Мустафу Османом.

Более того, с грустью размышляла Ивлин, они живут в доме Бердов только летом, в самую жару и духоту.

До отъезда в Дельту оставалось две ночи. Она задумалась и не сразу заметила, как в комнату вошел Хэролд.

— Помнишь, был на «Непале» такой Даусон, корабельный механик? Я еще учился с ним в школе. В общем, он в Александрии, Ивлин. Хворал. Только что вышел из больницы.

Вечер был нестерпимо жаркий, влажный, совсем уж непотребный. Да еще изволь вспоминать какого-то механика, прямо зло берет.

— Я сперва приняла его за шотландца,— сказала Ивлин.— Но он оказался не шотландец.

Хэролд был сейчас сама доброта. И доброта протягивала во все стороны свои чуткие усики.

— Мне кажется, ему некуда себя девать. Малость одиноко ему, пожалуй. До отправки на корабль у него еще десять свободных дней. Я ему сказал, пускай лучше поедет с нами в Кафр-эз-Зайт.

— Ох, милый! Ведь это мне придется еще массу всякого закупить! Ты поступаешь иногда ужасно неразумно.

— Позвонишь утром в «Нильский холодильник», только и всего,— сказал Хэролд.

Она рассмеялась чуть ли не весело. На ней был едко-зеленый тюрбан.

— Ты опять меня изблещил, милый,— сказала она.— И почти всегда ты совершенно прав.

Подобные минуты и делали их отношения такими неповторимыми.

Хэролд поцеловал ее. Он выпил, но не больше, чем принято. Это лишь прибавляло ему мужественности.

— У Даусона есть друг,— сказал он.

— Друг? Тогда почему же он одинок?

Хэролд замялся:

— Ну, то есть... В некотором роде. И этот друг — грек. Это ведь не свой брат.

— Грек? Никогда не была знакома с греком.

— Пожалуй, будет интересно. Он только что с археологических раскопок где-то в Верхнем Египте.

— Ты что же хочешь сказать...— Продолжать Ивлин была не в силах.

— Некуда было податься. Он приезжий и друг Даусона. Пришлось его пригласить.

— Пришлось! Сидишь, выпиваешь где-то в баре, и оглянуться не успел — уже пригласил весь тамошний сброд! Нет, милый, надо все-таки думать, в какое ты нас ставишь положение. Мало нам этого зануды механика. Он по крайней мере честный, хоть и неотесанный. Но грек. В доме Уин и Дадли.

— Уин и Дадли приглашали армян, сама знаешь, и что-то я не слышал, чтоб они потом недосчитались серебряных ложечек.

— Это совсем другое дело. Берды сами за себя отвечают. Обед прошел в молчании, Ивлин только и сказала:

— Esh, Khalil. Gawam!*

Сухость воздуха всегда была для нее мученьем, а тут стало уж так сухо — даже удивительно, откуда взялось столько слез, что хлынули, когда они с Хэролдом пили кофе.

— Ох, милый! Какая я глупая! Какая глупая! — И от этих слов все стало еще глупей.

Когда Хэролд подошел и сел рядом, знакомые очерта-

* Хлеба, Халиль! Быстро! (египетск. диалект)

ния его тела, которое она ощутила сквозь помятую рубашку, лишили ее остатков сдержанности. Заливаясь слезами, Ивлин целовала руки мужа. И оба они таяли в аромате жасмина и влажных цветочных клумб.

И наутро, после того как Ивлин позвонила в «Нильский холодильник», Хэролд обещал позвонить Даусону. Здравый смысл решил не в пользу грека. Ивлин сказала, Даусон такой простодушный, его нетрудно будет уговорить. Хэролд сказал — надеюсь.

Утром в день отъезда, как раз когда Ивлин заметила, что «Нильский холодильник» забыл прислать *râté**, а полиция зверски избивает на улице нищего, она увидела, к дому направляется грузный, неуклюжий человек — тот самый механик Даусон. И следом еще кто-то. Ивлин была вся в испарине, а тут вмиг похолодела. Неужто грек? У каждого в руках чемоданчик.

• Даусон уж чересчур крепко пожал руку. Грек — это был он — представился. Ивлин и слушать не хотела, но услышала — имя его взорвалось фейерверком.

Тогда, не то чтобы собравшись с духом, в приступе головокружительного и столь же взрывчатого вдохновенья она начала свою партию:

— Ох, но какая неловкая, какая ужасно огорчительная ошибка! Ох, но мистер Даусон, ведь Хэролд конечно же?.. Или это еще один фокус чудовищных александрийских телефонов? Видно, Хэролду не удалось толком объяснить. Мы бы и рады, но мы ведь, в сущности, здесь не хозяйева, нам только на время уступают этот дом. Сэр Дадли и леди Берд так любезно разрешают нам приглашать еще и наших друзей,— тут она с подчеркнутой благосклонностью повернулась к механику,— но идти дальше значило бы злоупотребить их добротой. Быть может, мистер Даусон объяснит? — Она воззвала к Хэролду: — Яснее? Своему другу?

Утро и так выдалось достаточно безжалостное, тут не до намеков и околичностей. Вот Ивлин и отгородилась от со-

* паштет (франц.).

здавшейся неловкости, точно стеною, надежной громадиной — Даусоном.

Она улыбалась. Все улыбались. Хэролд крихтел, будто его колотили по ребрам. Шире всех улыбался грек. Был он маленький, во всех отношениях неприметный человек. Галстук, который он, похоже, обычно завязывал ниже положенного, а сейчас старался поправить, был мятый, прямо какой-то жеваный.

Ивлин, исполнив свою партию, отвернулась, но разок глянула через плечо. Даусон отступил с другом к живой изгороди, усыпанной пепельно-голубыми цветами, к тому месту, где ее разрезал проход. Они стояли рядом в белой пыли. Рука Даусона опустилась на плечо грека.

— Мы поступили мерзко,— говорил Хэролд.— Я думаю, мы обидели обоих.

— Глупости,— сказала она.— Люди вовсе не такие тонкокожие, как тебе кажется.

А все же она решила те несколько дней, что Даусон проведет в Дельте, быть с ним особенно милой.

Она начала уже по дороге. Хэролд вел машину, а она то и дело поворачивалась к Даусону, который сидел на краешке заднего сиденья, крепко ухватясь за спинку переднего. Получалось этакое задушевное трио. Он на редкость простодушен, конечно же он ее простил. И однако она чувствовала, лицо у нее вспыхивает — от света и ветра, а быть может, и от воспоминания о недавней, пусть незначительной «сцене».

Однако можно бы уставиться и в спящее египетское марево, по крайней мере ничего не увидишь, пожалуй, и Даусон ничего не увидел бы. Но всякий раз, обращаясь к гостю, она чуть опускала веки — уловке этой ее научило зеркало. Самоуверенность позволяла ей говорить, позволяла поворачиваться к нему лицом.

Она вела обычную легкую беседу, какой привыкла занимать заезжих гостей: про буйволов, про ибисов, перемежая свои рассказы жаргонными словечками и цифрами, которых наслушалась от специалистов.

Как вдруг, против воли, заметила:

— Я, право, надеюсь, ваш друг не обиделся из-за нелепой ошибки Хэролда... из-за нашей общей ошибки.

Даусон улыбнулся своей зыбкой улыбкой:

— Он не из тех, кто ждет от жизни хорошего.

Такого Ивлин не ждала.

— Мне всегда говорили, греки — я имею в виду нынешние греки, а не те, настоящие, — они, в сущности, азиаты, — сказала она.

— Протосингелопулос из настоящих, — возразил Даусон.

Обнаженное ветром солнце воспламенило его бескровное лицо.

— Вам виднее, — сказала Ивлин. — Он ваш друг. Вы давно знакомы?

— Три... да, три с половиной дня.

— Ох, но, право... вы всегда так уверены?

— Всегда, — ответил Даусон.

Теперь она поняла, что сидит он подавшись вперед и ухватясь за спинку их сиденья не для того, чтобы им всем быть поближе, а чтобы надежней укрыть свою скрытную душу. Какая отвратная у него тыльная сторона пальцев с этими пучками красноватых волос! Ивлин отвернулась, уставилась на длинную, прямую, наводящую скуку дорогу.

Как ни странно, в доме Бердов Даусон явно почувствовал себя в своей стихии. Если он не слушал Хэролда или не разъезжал с ним, комнаты с толстыми стенами окружали его тишиной, что было под стать его внутренней тишине; их грубые пропорции словно нарочно предназначены были для его топорной фигуры. Когда он бродил по окрестностям, все вокруг словно не замечало чужака, хотя он, казалось, об этом не подозревал, знай топал куда глаза глядят, ведомый лишь собственными мыслями.

Ивлин должна была признать: этот новый Даусон раздражал ее, и она искала в нем какую-нибудь слабость, которая вознаградила бы ее за то, что он не желает быть таким, каким она хотела его видеть. Как у многих заезжих

гостей из других стран, его одежда совсем не подходила для здешнего климата. Когда Даусон расстался с пиджаком из синего сержа и стал ходить в несурзной рубашке и сержевых брюках, это не просто насмешило Ивлин. Она обрадовалась, увидав, до чего он здесь неуместен, а значит уязвим.

Иногда, шагая по извилистым тропинкам в манговой роще или мимо клумб с гвоздиками, он держал под мышкой книгу. Случалось, Ивлин заставляла его, некое средоточие полумрака, в комнате с плотно закрытыми ставнями, где он если и не читал, то сидел с открытой книгой.

Наконец, уже не в силах устоять, она взяла у него книгу. Удовлетворить свое любопытство.

— Читая при таком слабом свете, вы погубите глаза,— сказала она почти мягко.

Это был перевод с греческого. Стихи Кавафиса.

— Но вы же не интеллектуал! — Ивлин улыбнулась словно в утешение.

— В общем, нет,— сказал Даусон.

— Хэролд иной раз воображает, будто он интеллектуал. Нет-нет, я его не унижаю. Он куда умней меня. Я всего лишь легкомысленная женщина.

Она подождала, не возразит ли Даусон, но он промолчал.

— Какие трудные, чтоб не сказать странные, стихи! — Она отдала то, с чем еще предстояло освоиться.— Если вы понимаете эти стихи, значит, вы ужасающий интеллектуал, и мне следует относиться к вам по-иному.

Даусон сидел потирая руки, словно разминал табак для трубки. Голову на могучих плечах повернул так, что Ивлин пришлось смотреть на его кое-как выточенный профиль. Да, в характере Даусона она ошиблась, приятно, что с виду он все равно грубый и от его рубашки пахнет потом.

— А понимать необязательно,— услышала Ивлин,— понимать все, каждое слово. Я и не претендую на это. Это профессор мне дал,— прибавил Даусон.

— Какой профессор?

— Протосингелопулос.

— Этот человек — профессор? Вот удивительно! Хотя чего, собственно, удивляться. Ведь жизнь полна неожиданностей.

От их разговора Ивлин и сама почувствовала себя чуть ли не интеллектуалкой. Но Даусон, казалось, не заметил этого либо занят был лишь собственными мыслями и ощущениями.

— Может, вам хлопотно, что я живу здесь? — вдруг спросил он.

— С чего вы взяли? Я только боюсь, вам скучно. Мне кажется, я понимаю, что значит для деятельного человека вынужденная праздность. Сегодня, по крайней мере, Хэролд поедет в эль-Мансору посмотреть какие-то интересующие его посевы. Вы можете поехать с ним. И потолковать обо всем, что интересно вам обоим.

— О чем же? — неожиданно спросил Даусон и засмеялся, пытаясь смягчить странность вопроса.

Уж не хитрец ли он?

— Если бы я знала, вы больше бы мне доверяли.

В эту самую минуту Хэролд распахнул дверь и сказал:

— Болван араб только теперь объявил мне, что вчера испортился насос, мы остались без воды. Чем бы отправиться в Мансору, придется ехать за де Буазэ. Хочешь со мной, Клем? Только не скажу, что поездка интересная.

— Нет, не хочу, Хэролд, — ответил Даусон. — Я погляжу, что с насосом. Возможно, там как раз что-нибудь по моей части. Тогда не к чему тебе отказываться от поездки в Мансору.

Ивлин видела: человек дела, он явно обрадовался, что может быть полезен. Легкость, с какой они с Хэролдом называли друг друга просто по имени, порождала в ней лишь презренье. То, что должно было сделать их сильнее, казалось ей слабостью.

Когда Хэролд уехал, а Даусон занялся насосом, стало ясно: утро нечем заполнить, разве что душными испарениями Дельты. Ивлин села и принялась просматривать книжку стихов, которую читал Даусон, и перед нею начали возни-

кать разрозненные мерцающие образы. Сперва то одно, то другое слово, потом целая строчка, оживая, приводили в смятение. Любовь здесь была такая, о какой Ивлин знала лишь понаслышке, теперь же, в смутном свете поэзии, чувство это стало чересчур ощутимо плотским, удушливо благоуханным. Вспомнилось, как рассказывали об одной англичанке, которую в парке изнасиловал араб. Ивлин отложила книжку. Нет, если не хочешь, никто тебя не изнасилует.

Но все преследовал аромат пышных слов, испарины и темно-красных роз, распутившихся на нильском иле по ту сторону закрытых ставней.

Пришел Даусон, ему понадобились тряпки. Он казался таким довольным, ничуть не скованным.

— Вы ужасно перемазали рубашку,— сказала она, впрочем, вполне равнодушно.

— Потом постираю,— сказал он.

— Ох, нет! — возразила Ивлин.— Без вас постирают.

Роясь в кладовой леди Берд в поисках подходящей тряпки, она с удовольствием почувствовала, что вновь стала самой собой. Вернулась она со старым шелковым лоскутом.

— А тряпка не слишком хороша? — спросил Даусон.

— Да нет, не думаю,— засмеялась Ивлин.— А если и так, плакать по ней не станут.

Кто-кто, а Уин не заплачет. Приглашенная к кому-то на свадьбу, она авиапочтой выписала из Парижа шляпу, тут же отослала ее авиапочтой обратно и выписала другую.

— А как насос? — спросила Ивлин.

— Починим,— уверил Даусон.

Но ответа Ивлин не услышала. Она замороженно глядела на шелковый лоскут, свисающий с обнаженной руки Даусона, на кожу этих обнаженных рук, забрызганную машинным маслом и перепачканную сероватым жиром.

Они лишь ненадолго встретились за вторым завтраком.

Улегшись отдохнуть, Ивлин слышала прерывистый стук металла о металл, жестяно-легкий по сравнению с давящим бременем жары. Даусон только что был болен, как бы

его не хватил солнечный удар, но разве отговоришь человека, если ему чего-то хочется. Хорошо, что она вышла за Хэролда — если он чего и захочет, его легче переубедить. Как это она нашла Хэролда и в каком сне найдет его опять?

Но вот она набрела на него, нет, на Даусона, тот сидел за круглым железным скособоченным столом. И набивал рот дешевым засохшим сыром, какой кладут в мышеловку. *Но почему надо так есть?* — спросила Ивлин. — *Потому,* — пробормотал он с набитым ртом, — вы ведь не помираете с голоду, миссис Фезэкерли? — Ее передернуло, когда она услышала свое имя, и не меньше покоробил вид падающих крошек.

Проснувшись, Ивлин заметила, что отлежала щеку. И обозлилась, но потом искупалась, напудрилась и уже могла бы пожалеть любого, кто в этом нуждался. Все еще преследовали мелодии старых танго и запах палубы лайнера в ночи. Вполне естественно. У стольких австралийцев полжизни проходит в море, в пути куда-нибудь, подумалось ей.

И когда встретила Даусона, спросила, блеснув ярчайшей помадой:

— Мой Хэролд не вернулся?

— Нет, — сказал Даусон.

В свежей рубашке и в тех же синих сержевых брюках — других, очевидно, с собой не взял, — он был точно карикатура на самого себя.

— Вот тоска! — сказала Ивлин. — Обед будет ужасен. Да все равно он был бы ужасен.

Налив Даусону виски, она спросила:

— Вы рады, что вы австралиец?

— Забыл и думать об этом.

— А я рада, — сказала Ивлин. Не все ли равно, верит он или не верит.

Но она и правда рада — такой полнокровной, здоровой была ее юность в Австралии. И спасибо тому яблоку, что вкусила она и сумасбродно отбросила.

— Как по-вашему, не мог Хэролд попасть в аварию? — спросила она.

— Нет. Почему? — сказал Даусон.— Никаких оснований опасаться. Люди обычно возвращаются, даже когда думаешь, что они не вернутся.

Наверно, это джин виноват в ее мрачных мыслях. Обычно такое в голову не приходит, есть чем отвлечься.

— Вы не понимаете, что для меня Хэролд,— сказала она.— Хотя вы-то можете разговаривать с ним или не разговаривать и все равно додуматься до чего-то, в чем мне вовек не разобраться.

У Даусона вид был озадаченный, бестолковый.

— Как так? — сказал он.

Ивлин предложила пройтись. Это здоровее, чем сидеть и пить и вынашивать мрачные мысли об автомобильных авариях и о браке.

— Да мы ведь о браке не говорили,— заметил Даусон. Вот такой он был человек.

Ну и пошли они шагать во тьме. Волшебный слайд нильской дельты уже убран, но запах ее остался — пахло увядшим клевером и тлеющим навозом. Когда Ивлин только приехала в Египет, ей объяснили, что жгут навоз, это тоже ее возмутило, как многое другое. Но при постоянном кочевье, каким была и остается жизнь любого иностранца в Египте, постепенно стало даже утешать. Сегодня вечером и звезды светят — вначале она часто смотрела на них, а потом привыкла, что здесь они всегда видны.

— Разве мы не говорили о браке? — продолжала Ивлин и в темноте обо что-то споткнулась.— Мне казалось, мы, в сущности, все время об этом говорим.

В первую минуту лодыжку пронзила боль, Ивлин намеренно захромала, но Даусон не пытался ее поддержать.

— Я этого не понял, миссис Фезэкерли,— сказал он,— хотя, полагаю, эти мысли изрядно вас донимают.

— Значит, вы не были женаты! — выпалила Ивлин.

— Не был,— согласился он.

Интересно, скроет ли тьма, как искривились ее губы, подумала она.

— Говорят, если мужчина к тридцати годам не женат,

он либо завзятый эгоист, либо завзятый распутник. Интересно, из каких вы!

По крайней мере стало ясно, что хромать незачем.

— Женатые ли, одинокие ли, почти все мужчины в меру эгоистичны и в меру распутны,— сказал Даусон.

— Но вы не хотите понять! — воскликнула Ивлин. — Я же говорю о холостяках, они не знают меры.

— Не понимаю, почему это вас так занимает, миссис Фезкерли,— был ответ.— Ведь у вас есть то, что вам надо.

— Ох, знаю! Знаю!

В темноте она ударилась лицом о манговое дерево. И ее захлестнули листья и собственные возгласы досады.

— Но мы ведь разговариваем, чтобы поднять настроение, разве нет? — упорствовала она.— И чтобы понять друг друга. Почему я вас не понимаю?

— На это я не могу ответить. Если нам суждено понять человека, мы его пойдем.

В ярком свете звезд Ивлин неплохо различала лицо Даусона, но ничего не могла по нему прочесть. И это было страшно.

— Мне кажется, вы ничего не страшитесь,— сказала она.— Это само по себе устрашает любого, кому страшно.

— Что же вам страшно? — спросил он.

— Почти все. Жить в этой стране.— Мысли ее закружились в беспорядке.— Произношение англичан. *Скорпионы!* — Она ухватилась за скорпионов.— Даже сейчас, после стольких лет в Египте, я дрожу — вдруг забудусь и, не глядя, суну ногу в туфлю, а там скорпион.

Неожиданно для себя она уцепилась за мускулистую руку Даусона. И показалось — впервые в жизни она коснулась мужчины, ее потянуло к нему, повлекло, ближе, ближе, к более глубинному ощущению ночи и ужаса. Страшные и пугающие сами по себе, скорпионы оказались необходимы для начала. Так же, как топорное, неуклюжее тело Даусона могло служить свидетельством некоего унижения, к которому в трезвые мгновенья она будет мысленно возвращаться во хмелю угрызений совести.

Они вышли на край плантации, где в зеленовато-серебряном свете текла черная вода и громкие голоса арабов рассекали кубы деревенских домов. Только Даусон оставался неподатливым.

— И обнаружили вы хоть одного? — спросил он.

— Кого? — выдохнула Ивлин.

— Скорпиона.

Он засмеялся как мальчишка. Свободной рукой он обхватил ствол молодого мангового дерева.

— Нет, — сказала она. — Но ждать этого все равно страшно.

Хотя за долгие световые годы их странствия она в согласии с правилами, которые каким-то образом узнала, прильнула к нему, прилепилась, оба, как ни странно, словно оставались бесплотными. Не ощути Ивлин в этом неподатливом теле едва уловимую дрожь, можно бы подумать, что душа его с ним рассталась.

— Еще даже не надев туфлю, вы ожидаете смерти, верно? — продолжал болтать Даусон. — Нет, бросьте об этом думать. Не то и жить не под силу.

— Ну да, я глупая, знаю! Такая моя судьба, надо, чтоб мне вечно об этом напоминали!

Судорожно подавляя трепет пробудившейся плоти, она сдавала позиции.

— Знаю! — задыхаясь, повторяла она.

В зеленой египетской ночи она стояла подле Даусона и плакала. Сейчас, когда от вожделения, да и не вожделение это было, остался лишь беспокойный отзвук в памяти, будто покалывал жесткий волос, она жаждала одного — хоть бы Даусон поверил, есть в ней что-то, не совсем она пустоцвет.

— Простите. — Она слушала себя из далекого далека. — Я сама не своя от горя. Из-за нашего малыша. Вы ведь знаете, мы потеряли ребенка.

— Нет! — воскликнул Даусон, безмерно пораженный. И с такой печалью он теперь смотрел на нее.

— Упал в канал. — Она уже беспомощно всхлипывала. —

Вот оно как, мистер Даусон. Вы ведь поймете?

Ее по-прежнему захлестывало желание обнять большую щетинистую голову младенца. Младенца, который для нее потерян.

— Сколько лет было малышу?

Она чуть не расхохоталась, спасибо, с самого начала взяла такой серьезно-торжественный тон. В полных сочувствия глазах Даусона мерцали зеленые отсветы.

— Пять,— подсчитала Ивлин.

Но он не заметил, что вытянул это из нее, и на миг она завладела его тупыми потными пальцами, хоть они уже не так ей были и нужны, даже противны стали, и сама себе она стала противна.

— Смотрите никогда ни слова об этом Хэролду,— сказала она, припоминая, как надо командовать.— Он в таком горе, не передать,— торопливо продолжала она.— Мы никогда об этом не говорим.

Чудак Даусон все еще испуганно тарачил глаза, а ее все еще мучила собственная лживость.

Вскоре на длинной прямой дороге сверкнули приближающиеся фары.

— Ивлин, милая, прости,— сказал Хэролд.— Нет у меня никаких оправданий. Просто опоздал.

Она даже не почувствовала обиды.

— Мы уже начали беспокоиться,— сказал Даусон.

— Почему? — спросил Хэролд.

Никто не нашелся что ответить.

— Не беда,— сказала Ивлин.— Вот только обед. Ну, я за него не в ответе.

Смахнув с волос паука, она пошла в дом привести в порядок лицо.

Утром Хэролд подошел к Ивлин и сказал:

— Даусон решил вернуться в Александрию. Хочет заказать машину. Но я сказал, что сам его отвезу.

— Вот как? — сказала она.— Станный человек! У него же остается несколько свободных дней.

— Возможно, он еще хочет побыть со своим другом, прежде чем отправиться в Порт-Саид, на корабль.

Когда Ивлин вышла к машине, Даусон старался заново запереть один из замков своего чемодана.

— Мне ужасно жаль, что вам надо так спешить,— начала она.— Но я понимаю, вам хочется до отъезда побыть еще немного с профессором Прото. Мне всегда будет казаться, у него против меня зуб, оттого что нельзя было пригласить и его тоже.

Когда тебя это уже ни к чему не обязывает, легче говорить искренне.

Даусона, верно, озадачило, что замок его дешевого чемодана явно сломан. Он все мудрил над заржавевшей защелкой.

— Побыть с Протосингелопулосом? — сказал он.— Я думаю, он уже уехал в Грецию.

— Но Хэролд сказал...

Хэролд звал араба, чтобы тот протер ветровое стекло машины. Он стоял к ним спиной. Кто знает, уловил ли он обрывок разговора между нею и другом. Вечно он поглощен уходом за машиной. Или хлопком. Или, надо признать, тут она ощутила укол совести, женой.

А Даусон ничуть не озадачен, поняла она. Смотрит в сторону, скрывая то, что понял, и уедет, увозя с собой ее тайну. К счастью, он слишком туп или слишком честен, чтобы тайной воспользоваться.

— До свидания, мистер Даусон,— сказала она.— Надеюсь, вы скоро совсем окрепнете.

Он странно засмеялся и, глядя на свои ножищи, ответил:

— Я вовсе не чувствовал себя больным. Ничего такого не замечал. Просто мне сказали, что я болен.

Потом Хэролд повез своего друга, свою обузу, прочь. Даусон помахал или просто поднял короткопалую руку. Хэролд тоже помахал в знак, что скоро они будут вместе и одни, без помех; а она смотрела на Хэролда. Ей случалось ловить себя на мысли — вот бы Хэролд серьезно заболел, тогда можно будет доказать свою преданность ему, скрытую за ее манерой держаться. Представлялось — он лежит под проти-

вомоскитной сеткой, в приглушенном свете виден его изможденный, восковой профиль. И она оттягивает, вбирает в себя его жар.

Но болезни одолевали не Хэролда, а ее, пустяковые, досадные. Это было унижительно.

В свои шестьдесят Ивлин недурно сохранилась. Хотя в молодости она казалась тощей, к шестидесяти, можно было счесть, у нее стройная фигурка, и она еще подчеркивала это впечатление шляпами. По счастью, у нее хороший вкус, в этом ее уверило зеркало. Это подтверждали и окна, окна автобусов, когда во время движения она, покачиваясь, позволяла себе прислониться к плечу мужа, ведь, оказавшись на пенсии, он почти всегда был рядом.

Порой она задумывалась, в какой мере мужчина, истинный мужчина, вроде Хэролда, сознает ту роль, какую играет в его жизни нежность женщины. Задумалась об этом и в после-полуденный час, когда автобус увозил их от того побережья. На ней было пальто с воротником из чернобурки, не столько модной, сколько неустаревающей, как наряды вдовствующей королевы.

— Взять хоть глажку,— говорил Хэролд.— Непростая задача. Правда, можно заплатить какой-нибудь женщине. Наверно, Клем так и обходится. Да еще покупки. Видеть не могу мужчину с сеткой.

— Ты меня удивляешь,— сказала Ивлин.— И не скучно тебе думать про этого скучнейшего Даусона.

— Клем мне невероятно интересен.

— Ну, о вкусах не спорят. Что за книги ты покупаешь! В русском романе я и имена-то никак не удержу в памяти от страницы к странице.

Она засмеялась, но снисходительно. Стоило Хэролду пожелать, и она нередко занималась отчаянной скущицей.

— Ох уж этот Даусон. Помню, увидала его с книгой в руках,— заново начала она, полузакрыв глаза.— А только сомневаюсь, вправду ли он способен читать.

— Думаю, ему это необязательно.

— Ну, знаешь, милый!

Свет, в котором Хэролд видел своего друга, заставил ее вовсе закрыть глаза.

— Мне кажется, Клем так же ни в ком и ни в чем не нуждается, как что-нибудь цельное, скажем...— он с трудом подыскивал сравнение,— глыба стекла.

Ивлин открыла глаза. Хэролд даже вспотел от напряжения.

— Да кто он такой? — спросила она.— Был всего-навсего корабельным механиком. С тем и вышел на пенсию. Торчит один в глуши на австралийском побережье. И что? И больше ничего!

— Возможно, сам он прожил жизнь ничем не интересную. Но он поглощает... и отражает... опыт.

Хэролд чуть не поперхнулся своими словами. Под конец он достал трубку.

Ивлин не на шутку встревожилась.

— А чем он болел? — спросила она.— Когда его в Египте садили с корабля?

— По-моему, у него был нервный срыв.

Ивлин облизнула пересохшие губы.

— Ты никогда мне не говорил,— сказала она.

— Не говорил? Наверно, я вообще не все говорю. А ты все?

— Стараюсь,— сказала она.

Автобус въезжал в город. Сейчас, вновь глядя на город, каждый смутно недоумевал, неужели они сами захотели тут поселиться.

— Больше всего меня восхищает в Даусоне его способность поступать, как решит,— резко сказал Хэролд Фезкерли.

— А разве мы, в сущности, не всегда поступаем, как решили? — сонно, покачиваясь на сиденье, пробормотала Ивлин.

Но вдруг повернулась к мужу и спросила с величайшей серьезностью, что было не свойственно ей, даже в самые серьезные ее минуты:

— Хэролд, ты думаешь, Даусон гомик?

— С чего ты взяла?

— Не знаю.— Ивлин пожала плечами.— Говорят, это от моряцкой жизни.

— Он же не в военно-морском флоте служил. На пассажирском пароходе женщины не очень-то оставляют им такую возможность.

— Да уж!

Ивлин хихикнула. Ей нравилось, как он рассуждает. Хорошо, что она вышла за Хэролда, стоит дать ему повод для эдакого пикантного разговора, и он не упустит случая. Он уважал в ней утонченность, которую многие мужчины, едва распознав, постарались бы придушить.

Скоро они уже были затворены в лифте своего многоквартирного дома. Пыль осела на веточках с железными розами, на стеблях некогда позолоченных лилий, на двери, которую подчас заедало. Этаж за этажом скользили вниз навстречу медленно поднимавшемуся лифту коричневые полосы сосновых панелей — одинаковые лестничные площадки. Супруги Фезэкерли старались считать лифт одним из выпавших на их долю благ. Но Ивлин всегда держалась поодаль от его зарослей металлических цветов, боялась прикоснуться к их пыльной шерстке, к жирной росе.

В этот вечер, когда они только ввалились в холл, которому так и не нашли применения, она сказала со вздохом, не стесняясь банальности:

— Что может быть лучше своего дома?

По крайней мере, немалое облегчение — облегчиться. Хэролд боком пристроился в узком стойле уборной и стоял, точно конь, припавший на колени. Снизу, из шахты лифта, уже доносилась взрывами невнятица ночи. Для Хэролда Фезэкерли, справляющего малую нужду, железные вены в стене новотюдорского дома стали артериями жизни.

— Я думаю, даже Даусон привязался к своему шаткому домишку там, на отшибе,— сказала Ивлин, как часто бывало, заключая разговор, в который Хэролд так и не вступил.

Ивлин, его жена, что-то там делает с волосами. Она уже

позаботилась о самом первостепенном — подкрасила губы. Они источают малиновый свет и цвет. Без Ивлин он бы, разумеется, обойтись не мог. На последней из оставшихся от Египта наволочек ему представилась ее посмертная маска, и пришлось включить радио.

Актеры разыгрывали какую-то пьесу, но муж с женой не слушали, потому что, принеся херес, который оба они не очень-то и любили, Ивлин повернулась к мужу и, щурясь, начала:

— Меня осенила блестящая идея... как бы ты к ней ни отнесся.

— Ну так говори,— сказал он, потягивая «Амонтильядо».

Ивлин опять прищурилась.

— Знаешь,— сказала она,— у меня нет охоты соваться не в свое дело. Но я вдруг подумала о Несте Сосен... ну, в связи с... только не смейся... с этим Даусоном.

И она сделала именно то, что не велела делать ему: откинула голову и рассмеялась, теребя еще уцелевшее жемчужное ожерелье.

— Несту Сосен? Боже милостивый! Что это ты? *Неста Сосен!*

В отличие от Ивлин ему было совсем не смешно.

— Ну вот! — самодовольно сказала она. — Так я и знала, тебе это покажется престранным, а я готова доказать тебе, что тут есть смысл.

Она села, и стало видно все, что у нее всегда было чересчур тощее, но Хэролд любил ее. Только он и знал, как завидовала Ивлин ногам Уин Берд.

— Право же, Неста заслуживает, чтобы жизнь наконец хоть чем-то ее одарила,— убеждала Ивлин.

— Но ведь по-твоему, Клем Даусон далеко не подарок.

— Ах, по-моему! — Она опустила глаза. — Ты разве считаешься с моим мнением?

Хэролд уже заинтересовался и возражать не стал.

— Неста слишком молчаливая,— сказал он.

— А он разве нет?

— Да.

Дело серьезное, но ей, кажется, невдомек. Да он от нее этого и не ждет. Это его забота. В свое время он внимательнейшим образом присмотрелся к Клему, разглядел даже тот вросший волосок, из-за которого, по словам старшей больничной сестры, и вздулся фурункул. Старшая сестра вскрывала фурункул, и Клем вытерпел. Но сумеет ли он вытерпеть самые что ни на есть благие, далекие от всего земного устремления Несты Сосен?

— Она отлично стряпает,— сказала Ивлин.

Хэролд не перебил ее, уж так он привык за их долгую совместную жизнь. Они до сих пор спали вместе, пожалуй, раз в две недели. Они и правда ее любил.

— Я это знаю,— сказала Ивлин.— Когда она жила у миссис Бутройд, я однажды там обедала.

— Интересно, как Неста ладила с этой старой сукой.

— Не думаю, чтоб старуха была такая уж сука,— сказала Ивлин.— Неста тоже может быть трудной на свой лад. Хотя с мужчиной будет все иначе. Но я-то имею в виду ее стряпню. А для пожилого человека это всего важнее. Очень недурно стряпает. Пищеварение, это так важно.

— М-да,— промычал Хэролд.

— Ее выучила мать,— сказала Ивлин.— Мне правда жаль Несту. В прежние времена воспитанной, практичной, незамужней женщине без средств, из приличного семейства, было куда себя девать. Теперь на них просто нет спроса. Так же, как на горничных.

— У принцессы ей жилось совсем не плохо. Тогда ни о какой стряпне и речи не было.

Ивлин покачала ножкой и захихикала:

— У принцессы она как сыр в масле каталась!

Ивлин совсем развеселилась. Они и прежде не раз об этом говорили. После второго бокала хереса уже и Хэролд наслаждался разговором.

— Жила в свое удовольствие,— сказала Ивлин.— Еще как!

Она неторопливо отпила из вновь наполненного бокала.

— И ни следа не осталось,— со вздохом сказала она.

— Чего и следовало ожидать,— сказал Хэролд.— У половины этих вернувшихся австралиек такой вид, будто они побывали не дальше Лиры.

Ивлин кивнула с улыбкой.

— Они, кажется, были в родстве? — спросил Хэролд.— Неста и принцесса.

— Что-о? — вспылила Ивлин.— Но я ж тебе рассказывала, Хэролд, конечно рассказывала!

То была одна из их игр.

— Неста Сосен и Эдди Вулкок были дальние родственницы. По материнской линии. В Мельбурне. Мамаша Вулкок была твердый орешек. Никто особенно не удивился, когда Фернандини Лунго ухватился за Эдди в первый же их сезон в Европе. Отвратный человек, по-моему, но он до нее не касался. Эдди хватало его титула, а принцу — ее колбас.

— Про колбасы я помню.

— Ну конечно. В свое время они пользовались успехом. Был там один сорт, мясо смешивали с томатом. Ужас,— сказала Ивлин.

Супруги Фезэкерли потягивали херес, забыв и думать про напитки, которые поднимали им дух прежде. Они сами были духи определенной эпохи.

— Надо бы пойти заняться обедом,— вздохнула Ивлин.

Хэролд не поддержал ее. Опыт научил его равнодушию к еде. Вдобавок его насыщал образ Несты Сосен — крупной, белокожей, погруженной в себя, вечно с какими-то свертками. Свертки свисали на бечевочках с ее пальцев, точно гроздь коричневых, готовых вот-вот лопнуть плодов. Знакомые позволяли ей делать для них покупки.

Ивлин все сильнее клонило в сон.

— Представляю, как она сидит и вяжет в этой нелепой комнатке над морем.— Ивлин с удовольствием бы покачалась, будь стул подходящий.— Так уютно. Неста увлеклась вязаньем. Пристрастилась к нему еще в школе. В Маунт-Палмерстоне она никому из девочек особенно не нравилась. И я думаю, вязанье отчасти ее утешало. Она не-

редко предлагала научить нас. Но нас ничуть это не соблазняло. Ну и скверные же мы были девчонки!

— Я думал, Неста тебе нравится.

— А как же! С годами такие люди начинают нравиться. Не то жизнь была бы совсем уж несносна.

— Ни на какую мою помощь не рассчитывай.— С таким же успехом Хэролд мог противостоять ножу.

— И не надо,— сказала Ивлин.— Я и сама не собираюсь уж очень надрываться. Мужчин и женщин чересчур подталкивать незачем. Надо лишь слегка помочь природе. Направить их друг к другу. Свести их.

Она напустила туману, и не ведающий что творит холодный сумрак пробрал Хэролда до костей.

А Ивлин наклонилась вперед, обхватив руками локти. Улыбаясь. Впереди увиделась цель, и от этого на ее лице заметно обозначились морщинки.

— Теперь вправду надо похлопотать об обеде,— вдруг заторопилась она.

И пошла в кухню открывать банку лосося.

Очевидно, именно из-за фамилии Ивлин обратила внимание на Несту, сидящую у подножия исполинских сосен, росших с той стороны Маунт-Палмерстона, что была открыта ветру, а может, девчонкам, игравшим на скользких, устилающих землю иголках дерева только казались исполинами. Аромат, шелест сосен стали неотступно преследовать Ивлин, едва она мысленно вернулась к ним. Стала преследовать и Неста. Но вот удивительно, Неста, сидящая под сосной, виделась не старшеклассницей, а полногрудой женщиной, какой она стала в конце концов, почти всегда в серых прямых вязаных платьях. Или в жилетах с юбками в складку других оттенков серого. На лице время оставило следы, но волосы и без химии по-прежнему вызывающе черные. Под густыми игольчатыми ветвями ее волосы все еще ошеломляют ярким блеском, а тень одевает ее полное тело серовато-коричневыми латами коры. Она сидит и вяжет, и улыбка ее скорее вызвана собственными мыслями,

чем обращена вовне, к тем, кто, может быть, к ней приближается.

Но однажды в памяти Ивлин всплыла Неста-старшеклассница: та же прическа, та же фигура. Другие девчонки исчезли из памяти. Длинные темные волосы собраны на затылке коричневой бархоткой. Или ленточкой? Ивлин не могла толком разглядеть. Должно быть, сосредоточилась на ее позе: Неста так держала спицы, будто приготовилась к какому-то священнодействию.

— Почему ты всегда вяжешь? — спросила Ивлин.

Неста, казалось, не слышала, однако сквозь паутину затаенной улыбки стало проступать ее широкое лицо. Ивлин заметила на побледневшем лице желтоватые круги под глазами, будто из фланельки или замши. Как вдруг Неста подалась к ней.

— Я только начала, — сказала она, распушив связанную оборку. — Я еще не решила. Может, это и для тебя, Иви.

Она приложила покалывающую оборку к голой шее Ивлин.

— Никакая я не Иви, — возмутилась Ивлин.

Ее и завораживало, и противно было, что грудь у Несты уже почти оформилась. Прямо сдобные булочки.

И она кинулась прочь. Сквозь запах смолы и шорох сосен. Звук собственных шагов по скользкой хвое преследовал ее.

— Тише ты! — запротестовал с соседней кровати Хэрролд. — Вся комната ходит ходуном!

— Ох-х, — отозвалась Ивлин. — Должно быть, мне снился сон.

— Про что? — спросил Хэрролд из своего бесстрастного бессонья.

— Сама не знаю, — жалобно сказала она. — Или, может, про Бердов и эту жуткую станцию обслуживания?

Шея у нее занемела. С определенного возраста во сне отдыхаешь немногим лучше, чем когда бодрствуешь. Большая разница или сомнительное преимущество, что во сне вы не вольны в своих планах, а наяву — вольны.

Снились ли Ивлин Берды, нет ли (она склонна была

думать, что нет), но она вернулась к своему замыслу: послать Уин синее платье, которое уже не хотела больше носить. В сущности, платье премилое, никакая не золотая парча, конечно, но его еще можно носить и носить. Хэролду она пока не сказала. Она еще понасладится, еще немного расцветит свой замысел. Снова и снова представлялось ей, как сырым, холодным суррейским утром Уин получает посылку, как старается развязать узлы. Видела лицо Уин, каким оно ей помнилось, хитрющее, козье, — пустит, бывало, сплетню, боднет редко, да метко. Правда, теперь она уже старая. Этакая Нелли Уоллес, от которой несет бензином.

Ивлин бросило в дрожь на ее смятой постели.

— Чересчур короткие, — проворчала она, подтягивая простыню.

— Кто?

Ночью голос Хэролда звучал иной раз так сухо, так отчужденно, будто намек, что во сне к дневным обязательствам прибавляются и другие. В те времена, когда они еще делили друг с другом ложе, если Хэролд поворачивался, ногти больших пальцев на его ногах сухо скрипели, казалось даже, будто что-то рвется.

— Дешевые простыни, — с горечью сказала Ивлин. — Когда всем египетским простыням придет конец, надо будет решать, что нам дороже — грудь или ноги.

Хэролд ускользал от нее. Она повернула голову.

— Хэролд, — сказала она. — Мне снилась Неста Сосен. Я вдруг вспомнила.

Ее голос наполнил комнату безнадежностью, беспомощной во тьме искренностью.

— Я подумала, надо тебе сказать.

Он бормотнул что-то. Голос попытался прорваться и сошел на нет.

— Как ты думаешь, Неста лесбиянка? — спросила Ивлин.

Хэролд сворачивался в клубок, скрипя ногтями по простыне.

— Не верю я в такое. Не верю, что это возможно, — сказал он.

И засмеялся. Засмеялась и она.

— Каких только нет путей и способов.— Она зевнула, скривив рот.— Просто интересно,— ухитрилась она проговорить меж зевками.— Со столькими женщинами она вместе жила. Почти все вполне безобидные. А вот Эдди Вулкок... принцесса... ее так рано повезли в Европу. И она вращалась в обществе, где вовсе не признают условностей. Фигура у нее была мальчишеская. Помню одно ее платье. Говорили, его расписал какой-то знаменитый художник. Футурист, по-моему, так его называли. Какое-то там течение. Да, так на платье Эдди он изобразил сцену охоты. Какую-то богиню, что ли. Если хватит дури поверить. Так мне объяснили. И в таком платье — Эдди. Как самая обыкновенная манекенщица. Она такими штучками прямо наслаждалась. И терпела Несту, зануду несчастную. А та знай заказывала номера в отелях да билеты для всяких поездок.

Ивлин зевнула.

— Дело, конечно, просто в удобстве. И потом, даже те, кто преуспел, сохраняют какие-то связи со своим прошлым.

Теперь в комнате была тьма, хоть глаз выколи. Ивлин Фезэкерли с удовольствием вымыла бы горячие руки. И смазала бы «Дремлющим лотосом». Приятный напиток «Алко-сельтерская».

— Хэролд, ты не спишь?

Она заснула.

По утрам, когда она выходила купить отбивные и глянуть, что новенького в магазине Дэвида Джоунза, Хэролд обычно отправлялся в парк, пока не заподозрил, что сидящие на лавочках пожилые мужчины представляют самую грустную сторону пенсионного существования. Надо пойти работать, хотя бы на неполный день. А пока, прежде чем на что-то решиться (странно, ведь долгое время столько народу зависело именно от его решений), он старался иногда проводить утро дома. Возьмется за какую-нибудь книгу. Или просто сидит в скрипучем безмолвии дешевой мебели, в душном безмолвии ослепительно голубых жениных подушек.

Над спящей голубизной моря Хэролд различал Клема Даусона, который со звериной ловкостью карабкался по камням среди неярких цветов и трав и продутых ветром кустарников. Или Клем, такой же безмолвный и сосредоточенный, виделся в пустоте своей воздвигнутой из безмолвия комнаты. Несомненно, есть на свете люди, что знают толк в безмолвии, как другие знают толк в инструментах. Хэролд ничего не умел делать руками, а безмолвие лишь изнуряло его.

Не без смущения задумался он, верит ли Даусон в бога. Вероятно, не нуждается в вере. Сам Хэролд никогда в ней не нуждался, а когда ощутил, что вера, пожалуй, нужна, не осмелился вступить в отношения, которые так много от него требуют.

Вместо этого он взялся за «Войну и мир» и, хотя пришел в ужас от ее огромности, случилось, готов был вернуться к ее полузабытым богатствам. В то утро, когда он был к этому всего ближе, по крайней мере уже заглянул в список персонажей, Ивлин влетела в дом с какой-то чудной хозяйственной сумкой и кинулась к нему:

— Никогда не догадаешься! — Из-за спешки и волнения она даже побледнела. — Я встретила Несту... Сосен... в галантерее Джоунза. Она... ох, она живет тут в одном пансионе. Она обещала зайти. Так что, похоже, *все то* более или менее предопределено!

Быть может, такое торжество у нее в лице оттого, как замечательно подобралось слово.

— Уж не думаешь ли ты навязать эту женщину бедняге Даусону?

— Да в общем нет, — сказала Ивлин и засмеялась. — Я не столь самонадеянна.

Она вытряхнула из сумки катушку шелка, которая была целью ее утреннего похода, и понесла ее прочь.

В тот день, когда Неста зашла к ним, они, по счастью, были дома, а не отправились в очередную поездку. Слишком нерешительная или слишком скромная, она никак не согла-

шлась заранее предупредить о своем приходе. Но уж когда заявила, вошла с таким видом, будто нисколько не сомневалась, что ее ждут, и, разложив свои свертки, уселась так, словно с Ивлин ее связывала дружба куда более глубокая и постоянная.

Помешивая чай, Неста сказала Ивлин своим бесцветным тихим голосом, как бы исходящим из неких глубин ее существа:

— В тот день, когда ты обедала у миссис Бутройд, после твоего ухода произошло целое объяснение.

Неста засмеялась, стараясь оживить ту сценку в тайниках памяти, перед обращенным внутрь взором.

— Ты ушла, а она говорит: «Как вы думаете, я ей нравлюсь?» Для нее это было очень важно — всем нравиться.

— Что ж тут такого? — сказала Ивлин. — Это и для меня важно. Хотя не думаю, что я многим нравлюсь, — прибавила она с надеждой.

Но Неста продолжала про свое:

— Не помню, какими там словами я ее успокаивала. Да ее все равно не убедишь. И она принялась ругать свинину. Помнишь, мы тогда ели свинину.

Ивлин не помнила.

— Миссис Бутройд сказала: «Во всяком случае, свинина вам не очень удалась. Хрустящая корочка совсем не та. Прямо панцирь. А ведь это один из ваших коронных номеров».

Хэролд Феззерли собрался было зевнуть, но не позволил себе — и разъярился:

— Удивляюсь, как вы ее не бросили.

— В конце-то концов ведь это ты делала ей одолжение, — сказала Ивлин.

И понадеялась, что маленькие дрянные пирожные в буажных розетках — единственное, чем можно было угостить Несту (это Неста сама виновата), — выглядят не так уж страшно.

— О, но она нуждалась во мне! — возразила Неста. — А когда в тебе нуждаются...

Ивлин подняла глаза, ей показалось, она учуяла знакомый запах.

Неста закуривала. Они забыли, что Неста курит. Она пристрастилась к пинцетикам, когда те были в моде, и продолжала ими пользоваться по сей день, хотя мода давно прошла. Ивлин помнила, как в общественных местах незнакомые люди подталкивали друг друга локтем, увидав Несту с сигаретой. Сейчас она сидит нарочито поодаль от хозяев дома, на указательном пальце кольцо с приделанным к нему пинцетиком, и сигарета чуть подрагивает, точно сокол на руке у сокольничего. Неста, владычица сигареты, изысканно курила. Невозмутимая, сосредоточенная. Казалось, дым вьется, клубится, исходя из каждой поры ее широкого лица, белый на белом, лишь желтоватые круги под глазами разбивали или подчеркивали картину.

Ивлин взглянула на Хэролда. Как она была довольна, что вызвала это привидение.

— До чего замечательно быть нужной,— сказала она.— И не только миссис Бутройд. Всем им.

Неста поморщилась, будто Ивлин слишком много себе позволила, но не стала отрицать, что помогать другим — ее профессия. И по-прежнему курила. Только сигарета в серебряном пинцетике подрагивала сильнее.

— Даже принцессе,— настойчиво продолжала Ивлин.

Ивлин и на расстоянии услышала, как у Несты заурчало в животе.

— Эдди ни в ком не нуждалась,— сказала Неста.— Но время от времени воображала, будто нуждается.

Хэролду следовало бы пожалеть эту крупную широкобедрую женщину, всю в черном, едва поместившуюся на узком плетеном сиденье скрипучего стула розового дерева. Но ее мясистые, напоминавшие репу тела не взывали о сочувствии.

— Воображать, будто нуждаешься в ком-то, все равно что и вправду нуждаться.— Ивлин раскладывала прямо-таки бутафорские пирожные, бахрома бумажных розеток шуршала.— К тому же Эдди так тебя любила.

Теперь Неста высвободила из серебряного пинцета недокурную сигарету. Встала. И оглядывалась по сторонам в поисках своих громоздящихся у всех на виду свертков. Предоставляла супругам Фезэкерли созерцать то широкие черные бедра, то белую, полную, с выпирающим зобом шею. Ивлин не помнила, чтобы когда-нибудь видела ее в черном.

— Не любила она, — через силу выдавила Неста. — Я раздражала Эдди. Бесила.

Неста трудно глотала, давясь этими словами, так что белые щеки тряслись, а тем временем подбирала свертки и проворно подцепляла пальцами врезавшиеся в них веревочные петли.

Хэролд просто не мог на это смотреть.

Ивлин от волнения даже засмеялась.

— Это тоже своего рода потребность, — хихикая, сказала она. — Может, Эдди нужен был кто-то, кто бы ее раздражал.

Неста уже овладела собой. Она стояла улыбаясь, ведь длинный шарф жизни связан неровно, но в общем приемлемо.

— В следующий раз, когда к нам соберешься, непременно предупреди, — сказала Ивлин. — Тогда мы лучше подготовимся.

Она коротко потерлась щекой о щеку Несты, словно скрепляя этим некую тайну.

Когда они остались одни, Хэролд увидел, что Ивлин сияет.

— В следующий раз я не попадусь, — сказал он.

Ивлин разразилась прерывистым, одышливым смехом.

— Хэролд, милый, не дури. Даусон не заяц. И ты сам видишь, бедняжка Неста всю жизнь была жертвой.

— Ты этого не сделаешь!

— Нет, сделаю! Сделаю! — она вскинула голову. — У Даусона что, нет собственной воли? Принудить мужчину невозможно.

Она смотрела на мужа, который был ей нужен не меньше, чем любой из тех женщин нужна была Неста Сосен. Она почувствовала, вокруг глаз выступила испарина...

— Не принудить,— сказал Хэролд.— Принуждению противостоять легче.

Не то что дыму. Дым, подчас удушливый, проникает туда, где окна простодушно распахнуты.

— Ты забываешь, что Эдди Вуллок пыталась перерезать себе вены,— сказал он.— Известно по крайней мере о двух таких попытках.

— Эдди... что? — ужаснулась Ивлин; потом пробормотала: — Да... мне кажется... я знаю. Я забыла.

Ивлин Фезэкерли считала самоубийство, даже и не доведенное до конца, одним из самых безнравственных поступков. Вот убийство простительней, убийство говорит о силе характера.

— Но все это не имеет никакого отношения к моим безобидным словам,— сказала она.

— Ну ладно, дружок,— засмеялся Хэролд и поцеловал жену.

Его усы успокоили Ивлин.

В тот вечер, чистя зубы, Ивлин окликнула его с другого конца небольшой квартиры:

— Я и правда помню об Эдди... об одном из тех случаев,— сказала она.— Говорили, Эдди это сделала перламутровым перочинным ножиком, который ей кто-то подарил. В одной газете поместили ее фотографию — она машет с палубы парохода, отплывающего из Саутгемптона. На запястье, под браслетами, видна повязка. Неста вернулась к ней. Стоит рядом.

Ивлин нарезала на диво тоненько, в кои-то веки на диво мастерски сандвичи с огурчиками. Если они не слишком пропитывались рассолом, вкус у них бывал такой прохладный, изысканный. Она подала и кекс, испеченный по одному из своих старых рецептов, и он обошелся недешево, так как она делала его на масле, и по-настоящему дорогой Венский торт, к которому привлекла общее внимание. Уж так просила извинить, что торт покупной, а не домашний.

И разговор вела Ивлин. Хэролд почти все время сидел,

будто язык проглотил, сразу ясно было, что он здесь не по доброй воле, да притом он уже чувствовал: из-за огурцов ему не миновать несварения желудка. Даусон и Неста Сосен время от времени обращались к хозяевам, а один раз мисс Сосен через них обратилась к гостю.

— Знает ли мистер Даусон,— спросила она, отвернувшись от него и опустив коричневатые веки,— знает ли он... живя вот так, на юру... что герань переносит ветер лучше, чем пеларгонии?

Даусон шевельнулся и, казалось, застонал — правда, еле слышно.

Неста Сосен выдохнула дым через нос.

— Пеларгонии чересчур хрупкие,— сказала она.

Но Ивлин положила этому конец. Каждый должен оставаться верен себе. Сама она играла свою роль виртуозно, и в подобных случаях Хэролд невольно восхищался женой.

— Какие изысканные цветы в Доломитах...— вспоминая, она закрыла глаза, словно от изысканного страдания,— мы любовались ими, когда приехали туда в отпуск из Египта. Такая жалость, что невозможно увезти, пересадить эти яркие, чистейшей окраски россыпи. Египет для них губителен. Сидней был бы не многим лучше. В Сиднее почти все альпийские цветы иссушает жара.— Стоило это признать, и все показалось еще ужасней.— Мистер Даусон,— сказала Ивлин,— я не стану вам навязывать, но просто предлагаю еще кусочек кекса, он тает во рту. Я, конечно, не бог весть как стряпаю.— При этих словах она взглянула на Несту.— Но иной раз он мне удается. И я знаю, чем угодить мужчине. Разве что Хэролд слишком великодушен. Или обманщик.

Даусон сегодня приоделся, но костюм — явно лучший в его гардеробе — словно был с чужого плеча. В нем он казался сплошь оранжевым, только глаза, не будь они такие бесхитростные, могли бы обжечь.

Такие они были ярко-синие, наверно, это и мешало Несте в них посмотреть.

Ее уговорили снять шляпу, и из-за блуждающего дыма

сигареты, которую она столь прихотливо держала в руке, казалось, будто темные папоротниковые завитки и переплетения волос и нависающие замшевые веки существуют отдельно от нее. Сегодня она была в сером. К удовольствию Ивлин. Серое вполне уместно.

Но Хэролду и без огурцов было бы не по себе. Хотелось остаться в одиночестве, как это умел Клем Даусон.

Даусон сидел сцепив толстые пальцы, и на них видна была кустистая оранжевая поросль.

Потом Ивлин Фезэкерли, опустив уголки губ, спросила:

— Чем же вы в последнее время занимаетесь, мистер Даусон?

Потому что ощутила — нить вечера провисает.

Даусон выпрямился и ответил:

— Сказать по правде, я варю апельсиновый джем.

Вдруг Неста заерзала, да, заерзала на оставшемся от матери Хэролда стуле розового дерева, которому по-прежнему оказывала предпочтение, хотя едва помещалась на нем.

— Неужели апельсиновый? — резко спросила она.

Ивлин забыла, какие у Несты глаза. А они — цвета топаза, блестящие, даже сверкающие.

— У меня он никак не получается, — выдохнула Неста.

Тут Фезэкерли осознали, что Неста Сосен и Клем Даусон обращаются друг к другу прямо и открыто.

— Он почти всегда подгорает, — призналась Неста.

— Не подгорит, если бросить туда три монетки по два шиллинга.

— Пф-ф! — она выдохнула дым. — Надо еще про это не забывать. Моя тетушка, Милдред Тодхантер, учила меня этой хитрости с монетками.

Несколько минут эти двое сидели и смотрели друг на друга. Потом осознали, что на них смотрят, и оба стряхнули с себя воображаемые пылинки. Сигаретный пинцетик Несты разжался и выпустил потухший окурок. Даусон обвел комнату рассеянным, невидящим взглядом.

Напитанный влажной духотой день вовсе уж неожиданно пронизало холодом.

— Из всего, во что верят эти проклятые египтяне, самое непостижимое — погружение храмов под воду.

Ивлин умышленно выждала несколько недель и лишь тогда села за письмо, которое сочиняла чуть не все это время. Оно начиналось так:

*Дорогой мистер Даусон,
мне кажется, мы, кто достиг определенного возраста,
очень зависим от своих друзей и нам следовало бы чаще
собираться под одной крышей...*

Она помедлила, полюбовалась написанным...

*...то у одного, то у другого. В сущности, я пишу, чтобы
пригласить вас на дружеский, без затей завтрак...*

Те, кто пугал ее и восхищал, написали бы «ленч», но, поразмыслив, она отказалась от этого слова из соображений психологических...

*...если перспектива покинуть Ваш любимый дом и нару-
шить заведенный распорядок дня не кажется Вам чересчур
скучной...*

— Ивлин, ты что делаешь? — спросил Хэрролд.

— Пишу письмо.

Дальше он не спрашивал, и так понял.

Ответа на письмо Ивлин не получила, это противно, но ведь глупо было ждать простейшей вежливости от такого дикаря, говорила она себе.

И тут пришла записочка:

Уважаемая миссис Фезэкерли!

*Я пишу вместо мистера Даусона, он хворает. Я хожу туда
по вторникам гладить, и он просил меня написать это
письмо. Он сильно хворает. Чего-то у него с сердцем.
Говорят, он оклемается, и впрямь оклемается, потому как
сам того желает. Пишу только потому как он просил и как
вы для него человек уважаемый. Но он не велит вам или
кому другому приезжать. Больно далеко ехать.*

Искренне ваша

И. Перри (миссис).

— Даусон серьезно болен,— сказала Ивлин.— Сердце, — Бедняга Клем,— сказал Хэролд, сгибая и разгибая пальцы.— Давай съездим к нему.

— Нет,— сказала Ивлин.— Такому человеку, когда он хворает, люди неспособны. Но есть ему необходимо. Чтобы жить. Может, я могла бы что-нибудь ему отвезти.

Обоим представился Даусон, скрюченный на кровати в продуваемом всеми ветрами домишке. И Хэролд согласился. Ивлин как-никак женщина.

Она купила овощей, приготовила суп и налила в жестяной бидон, но в автобусе супом все-таки плеснуло на ее синюю юбку. И всю дорогу, когда каблуки подворачивались на камнях, она должна была напоминать себе, что страдает ради доброго дела.

Узкая дорожка сквозь ветер, вниз по склону скалы, над неподвижными кактусами и дрожащими гибкими кустиками тимьяна привела наконец к безмолвному дому. В кухне капало из крана, и Ивлин пожалела, что нет с ней Хэролда. Неуместной скульптурностью бросилось в глаза приспособление для варки яиц.

И — Клем Даусон, лежащий на кровати. Он кинул на гостью мимолетный взгляд из-под рыжих бровей.

— Я никого не ждал,— сказал он.

Ветер с моря завывал среди альпийских розовато-лиловых цветов и трав.

Она наверняка страшно растрепанная.

— Не можем же мы бросить вас на произвол судьбы. Смотрите, я принесла вам хороший, питательный суп.

Но он не посмотрел. По-прежнему лежал с закрытыми глазами — похоже, он из тех мужчин, которые, заболев, впадают в мрачность и их надо умасливать.

— Разогреть вам немножко супу?

— Нет,— сказал Даусон.

— Ну что ж,— ее милосердие не желало гаснуть,— я поставлю его в холодильник, и вы сможете поесть, когда будет охота.

Ивлин вернулась в кухню, которая была уже ей знакома.

Спальню, вот что ей хотелось рассмотреть. В тот первый раз хозяин не завел их туда.

Холодильник оказался не набит, но и не пуст. Ивлин вылила суп в кастрюлю и поставила ее так, чтоб была под рукой. Только теперь она заметила рыбный пудинг, на вид приготовленный весьма искусно, от него уже откромсала кусок, надо думать, неловкая рука больного.

— Рыбный пудинг выглядит очень даже аппетитно,— сказала Ивлин, когда, по-прежнему исполненная бодрости, вернулась в спальню.— Он выглядит таким легким, и такой нежный соус. Это, наверно, ваша миссис Перри готовила, которая нам написала, да?

Даусон фыркнул:

— Отродясь она не сготовила ничего съедобного. Судя по тому, что приносит мне пробовать.

Сказано это было с необычайной горячностью, Ивлин сразу засомневалась, так ли уж он серьезно болен.

— Нет.— Даусон запнулся, потом докончил: — Это мисс Сосен принесла.

— О-о? — выдохнула ошарашенная Ивлин.

Но ведь она сама их свела, теперь надо принять новость как должное.

— Я так рада, что у вас нашлось что-то общее,— сказала она, лишь бы не молчать.— Хотя бы еда. Что может быть важней! И Неста такой замечательный человек. Такой надежный.

Она сидела скованно, точно пришла в больницу навестить больного, смотрела на свои кольца, обручальное и венчальное, и сама себя слышала: говорит так, будто нахваливает товар в магазине.

— Мисс Сосен — она вполне,— сказал Даусон, все не открывая глаз и подергивая носом, будто сгонял несуществующую муху.

Ивлин Фезэкерли представила приход Несты. Услышала их общее молчание. Однако разве это не естественно? Такие чувствуют друг друга. И сходятся. И плодятся. Ужасное выражение.

Выведенная из душевного равновесия, она брезгливо оглядела комнату, которую до этой неприятной неожиданности ей так хотелось получше рассмотреть. До чего они жалкие, эти убежища одиноких мужчин. Целомудренней даже, чем буфеты старых дев. Яйцо для штопки, сегодня без носка. Почти уже исписавшийся плотничий карандаш. Аккуратнейшие мотки бережно сохраняемых бечевок. Кесониновая лампа под матовым абажуром, которой все еще пользуются. «Завоевание Перу». Пара рукавиц — зимним утром здесь, на морском берегу, они едва прикрывают шершавые, узловатые руки Даусона.

Да, что и говорить, невысокого полета птица этот Даусон.

Потом он открыл глаза, посмотрел на нее и сказал:

— Мисс Сосен хорошая.

Ивлин Фезэкерли облизнула сухие губы. Она собиралась предложить что-нибудь заштопать. А вместо этого кашлянула и посмотрела на часы.

— Как бы мне не пропустить автобус.

Прошла на кухню за своим бидоном, опять открыла холодильник и указательным пальцем отковырнула кусочек приготовленного Нестой рыбного пудинга. Вкус был восхитительный, и чем-то он приправлен, не распознать.

Она вернулась в спальню, взяла мясистую руку больного.

— Клем, дорогой,— никогда еще она не называла его по имени,— мы с Хэролдом готовы все для вас сделать... все решительно... в память о прежних временах... скажите только слово.

Даусон слабо улыбался — должно быть, засыпал, повернув голову к скучной выбеленной стене.

Ивлин ушла от него, подозревая, что на сей раз в простаках она, а не он. Брела по неровной дороге и спотыкалась, и ей неотступно виделась дешевая желтая мебель, и точила мысль, что ни в первый, ни во второй раз не удалось ничего раскрыть в этом как будто и не запертом доме и что, взяв Даусона за руку, она не ощутила и намека на ответное пожатие.

Ивлин не стала сразу говорить Хэролду, что Неста навещала Даусона, а немного погодя говорить было поздно. Она все ждала, что Неста даст ей понять, каковы ее намерения, этого требовали правила дружбы. Однако Неста не приходила. Она просто воспользовалась нами, начала понимать Ивлин, а теперь, когда познакомилась с этим Даусоном, избегает нас и действует тайком. Что ж, хочет себя унизить — ее дело. Загадка женщины, чье лицо полускрыто сигаретным дымом, неровно наложенной пудрой и паутиной дружеских сантиментов, или затянутой в уродливую маунт-палмерстонскую форменную блузу преждевременно созревшей школьницы с вязаньем в руках, подле высоких сосен, перестала быть загадкой: в лице этом — прирожденное коварство.

В какую-то несообразную минуту — да вся история была несообразная — Ивлин позволила себе вообразить стареющую Несту в одну из самых судорожных минут любви: большой складной нож пружинистой плоти, дергающийся крестец, груди вздымаются и шлепаются, точно закипающая каша в кастрюле.

— Какая гадость! — не сдержалась Ивлин.

И поспешно перевела дух.

Хэролд Фезкерли повернулся от напористо пробивающихся в горе туннель рабочих к жене, окутанной облачком восторженной нереальности, которое она вынесла с собою из их новотюдорского кокона под открытое небо. Ибо Фезкерли отправились в очередную «вылазку», как называла это Ивлин. Поехали туристским автобусом по Снежному маршруту.

— Что еще за гадость? — крикнул Хэролд.

Побоялся, что она не услышит за громкими голосами рабочих и грохотом раскальвающихся камней, и крик его прозвучал особенно сердито.

— Я забыла сказать, — прокричала в ответ Ивлин и оглянулась через плечо, не грозит ли гора обвалом, — в тот день, когда я навещала Даусона, выяснилось, Неста приносила ему рыбу... рыбный пудинг!

На губах у нее уже не осталось помады, и они казались

бесцветными. В тот миг Хэролд пожалел, что женат на своей жене.

— Я часто удивляюсь,— опять закричал он, и голос старчески задрезжал,— когда ты вспоминаешь что-то из прошлого, как тебе удается пережить это заново.

Тут он спохватился, что стало тихо, и подсадовал на свой дребезжащий голос.

Вечером в гостинице Хэролд заказал к ужину бутылку бордо, чтобы придать вкус не слишком аппетитному мясу И как-то отметить этот день.

— Ну, готовят тут неважно, правда? — виновато сказал Хэролд.— Совсем не то, что надо.

— А чего ты ждал?

Ивлин улыбнулась ему, она вновь стала земной и практичной, как только переоделась. Оглядывала другие пары в зале, спутников по туристскому автобусу, толстых и тонких, выпивающих и непьющих, и старалась вообразить, будто они с Хэролдом за своим отдельным столиком — ей всегда требовался отдельный столик — блестящие любовники и плывут на пароходе по Нилу.

И тут Хэролд все разрушил:

— Интересно, этот Нестин пудинг... он хоть куда-нибудь годился?

Рот Ивлин, расцветший было в романтическом ореоле их прошлого, мгновенно увял.

Потом она сказала:

— Я и правда его попробовала, он был совсем неплох.

По крайней мере треснул лед, что заморозил ее отношения с Нестой Сосен и Клемом Даусоном. Она опять стала их упоминать. Оказалось, что и во время «этой ужасной поездки», какой она осталась в памяти Ивлин, и после она могла пошутить над собой, особенно прибегая к помощи пресловутого пудинга — в этом мягком, белом, смехотворном месиве увязло и отчасти утратило силу коварство Несты.

С унылой сдержанностью Хэролд говорил, что надо навесить «беднягу Клема». Ивлин сказала, да, необходимо по-

ехать обоим, это их долг, пусть даже он стал во время болезни не в меру раздражительным и обидчивым. Но их сковало бессилие. Да, они поедут, пусть только станет прохладней, или теплей, или больной поправится настолько, что их приезд доставит ему удовольствие. И они все не ехали. Та женщина, миссис Перри, наверняка приходит и обихаживает его, говорила Ивлин, похоже, она человек превосходный.

Они еще долго бы так рассуждали, не получи Хэролд письмо от Клема:

Дорогой Хэролд,

пишу, чтобы поставить тебя в известность, что мы с Нестой Сосен решили попытать счастья. В прошлом месяце мы поженились. И сразу поехали домой, так как чувствовали, что в нашем возрасте свадебное путешествие выглядело бы нелепо. Привычки у нас обоих уже приобретены, если не сказать неизменны, и мы не питаем чрезмерных надежд.

Ты ведь знаешь, Хэролд, я никогда не умел выражать свои чувства, но не могу упустить эту возможность и только представляю, как было бы все иначе, если бы мы не потеряли друг друга или не встретились бы вовсе. Я думаю, больше всего на меня всегда влияло то, что невозможно вместить. Например, море. Что же до человеческих отношений, хоть сколько-нибудь серьезных, много ли от них остается после того, как они просеяны сквозь решето слов?

Ну и письмо! — прямо слышу, как ты это говоришь. Но можешь его забыть, и когда мы встретимся в следующий раз, все останется по-прежнему.

Мисс Сосен (эти слова он зачеркнул) Неста шлет привет твоей жене, к которой она, мне кажется, очень расположена.

Если это письмо и не ошеломило супругов Фезэкерли, у них по меньшей мере звенело в ушах.

— Какая дикость, — сказала Ивлин.

Опять и опять она возвращалась к письму, словно в поисках окна, через которое взгляд уловил бы что-то хоть сколько-нибудь знакомое. Это и вправду дико. Чтоб не сказать непристойно, но так, пожалуй, слишком. Ведь она и

сама тут поневоле замешана. Для Ивлин Фезэкерли привязанность означала нечто если и не материальное, то вполне явственное. И Неста Сосен, с ее расплывчатыми чертами и поникшей грудью, теперь становилась явственней. Дальше отбрасывала тень из-под гигантских деревьев, предлагая связанную из серой шерсти оборку. Ивлин билась, старалась разобраться в своих чувствах. Но долго раздумывать не позволила себе, лишь пока не закололо кожу иглами. И, как в детстве, сбежала по скользкой хвое назад, в гостиную.

— Не знаю, на что они там надеются,— с хриплым смешком сказала она, стукнув ладонью по письму.— Как бы только они не получили, чего вовсе и не ждут,— чуть ли не мечтательно прибавила она.— Почти со всеми так и бывает.

Но Хэролд Фезэкерли стал решетом, через которое слова бежали, как вода, а с ними и все испытанное или, точнее, то, что не было испытано. Мальчишка, плачущий среди зловония разящих дезинфекцией гальюнов. *Что случилось, Фези, малыш?* Широкая, бугристая от мозолей рука похлопывает по плечу, прогоняя горести. *Ничего.* И несказанное блаженство, хоть и видишь при сумеречном свете, как тут же в политых мочой опилках копошатся мерзкие червяки. Ветер на море, омывающий кожу, продувающий все, кроме самых укромных уголков сознания. Зажигательное стекло голубого глаза. Неподвижный вопросительный знак белого ибиса среди папирусов. Мечты и пророчества, бьющиеся о кое-как сколоченные сосновые двери.

Но тайные значения письма, от которых его бросало в дрожь, пока он сидел в своем меблированном стойле, были, разумеется, еще и трепетом, и оглушающими страхами возраста.

Когда немного спустя супругов Фезэкерли призвали в дом на скале, все четверо были не то чтобы старые, но пожилые. (Уклониться от этого визита никак нельзя, заявила Ивлин.) Все либо костлявые, либо расплывшиеся. На костлявых некогда модное и элегантное платье висело мешком. А Клем и Неста Даусон (именно Даусон) явно выпи-

рали из своих костюмов, задуманных как просторная, практичная одежда.

Ивлин видела: Даусоны до ужаса схожи — и несхожи.

А что видел Хэролд, кроме сверкающего за окнами моря, он и сам не знал. Уж конечно, дыхание ветра. За окнами даусоновского дома всегда был виден ветер.

Чету Фезэкерли пригласили на чашку чая.

— Подумай, Хэролд, ну как не стыдно Несте, она ведь такая мастерица стряпать.

— Большого, возможно, не захотел Клем. Теперь уже не с одной Нестой надо считаться.

— Ах, Клем! — Голова у Ивлин завертелась, как на шарнирах.— Дура она, если не может поставить на своем!

Фезэкерли привезли молодоженам металлическую подставку для гренок, хотя Ивлин опасалась, что Даусонам, которые обошлись с ними так небрежно и попросту обманули, стыдно будет принять подарок.

Но вот они все за столом, чашки в неуверенных руках грозят опрокинуться, тарелочки с сэндвичами еле удерживаются в равновесии. Ивлин заметила — посуда уже не простая белая, Клемова, а настоящий сервиз, вероятно, Неста его унаследовала от какой-нибудь из старых дам или от матери.

Свет коснулся чашек довольно тонкого фарфора и обратил их в прозрачную яичную скорлупу, из которой еще не совсем ушло дыхание жизни.

Чашка Хэролда бренчала по блюдцу. Под ветром бренчали неплотно закрытые окна.

— Ах, какая прелестная брошка! — не сдержалась Ивлин.

Ибо на серый джемпер вязаного костюма, под крупной белой шишкой зоба, Неста приколола брошь — на черном мраморном фоне яркая мозаика цветов. Конечно же, не свадебный подарок. Ивлин не могла представить, чтобы мясистые руки Клема держали что-нибудь в итальянском духе.

— Это тебе принцесса... она оставила? — спросила Ивлин.

— Ну, нет! — оскорбленно ответила Неста и опустила коричневатые веки. — Ничего итальянского Эдди оставить не

могла. Драгоценности она только носила. Они принадлежали Фернандине Лунго. И потом,— прибавила она, смягчая резкость ответа,— эта брошка пустячок. Я сама ее приобрела. В сувенирной лавочке. На Понте-Веккьо.

Вдруг показалось — фарфоровая чашка для нее тяжелое бремя.

— Но она милая.— Это было извинение.

— Прелестная,— с ударением сказала Ивлин, хотя интересовать тут было уже нечем.

С какой стати ей даже муторно стало? Ничего страшного не случилось. Поправляя ошибку, которую мог бы сделать кто угодно, Неста сама пояснила, что брошка никакая не ценность. И однако Ивлин впору было завопить — из-за своей оплошности, из-за Даусонов, нет, из-за всех их четверых.

Неста разбила одну из доставшихся по наследству чашек. И от огорчения застыла на миг дольше, чем надо бы, в нелепой позе, с вывернутыми внутрь коленями. На ней были серые чулки в резинку, наверняка собственной вязки. Ноги под ворсистой юбкой точь-в-точь у хоккеиста, от рожденья не пригодного для этого спорта.

— Что ж ты как неловко,— упрекнул Даусон. (За все время он ни разу не назвал жену по имени.)

— Но ты ведь знаешь, я неловкая,— сказала Неста... И сказала неловко.

Он опустил на колени, на половицы, вел себя так, будто чашка была его, а не жены. Хэрولد смотрел на руки, собирающие осколки, и опять вспомнилось сорочье яйцо, которое Клем достал и дал ему выпить через дырочку, когда они были мальчишками.

— Не забудь... это в ведро для свалки,— предупредил Даусон.— У нас три ведра,— объяснил он гостям,— одно для свалки, второе для компоста и третье для мусоросжигателя.

Ненадолго замолчали, слышно было только, как скатываются и позвякивают осколки чашки, надо полагать, Неста сбрасывала их в нужное ведро.

В тот день Неста не пыталась курить. Вместо этого она принесла свое вязанье, и когда терпеливо раскручивала серые и коричневатые усики шерсти, это производило такое же впечатление, как если бы курила.

Даусон сидел нахмурясь, вероятно, прислушивался к звуку спиц. Оба они прислушивались.

Ивлин чувствовала, она тонет в происходящем, а берега от нее скрыты.

Она повернулась к окну, так что серьги ударили ее, и заговорила громко, небрежно, с нарочитой беспечностью:

— Наверно, отсюда видны просто изумительные закаты. Над морем.

Даусон откашлялся:

— Солнце садится на западе, с другой стороны горного кряжа.

Неста продолжала вязать, улыбаясь довольно вымученной улыбкой.

— Мы любимся восходом,— сказала она.— Почти каждое утро. Это чудесно.

— Должно быть, вы ранние пташки! — пробурчала Ивлин, обратив недовольство собой в шутливый упрек другим.

— О да. Мы встаем рано,— с гордостью подтвердила Неста и кивнула.— Мы оба.

Даусон поднялся. Отошел от жены и стоял, глядя в окно. Солнце уже покинуло море ради мира по другую сторону кряжа, оставив тончайший налет безукоризненно белого света на подернутых рябью водах.

Чете Фезэкерли оставалось слушать спицы, в лад их постукиванью Неста покачивала головой и едва заметно шевелила губами. Ивлин всегда терпеть не могла, чтобы не сказать боялась, безмолвия пустых комнат, для нее стук костяных спиц был тоже своего рода безмолвием, и она дала Хэролду знак собираться.

Они оглянулись. Странно это было — видеть Даусонов, стоящих *вместе* у калитки ниже уровня дороги, в иссякающем вечернем свете.

На обратном пути Ивлин и Хэролд не разговаривали.

Ивлин следовало бы поблагодарить Даусонов письмом на толстой белой почтовой бумаге, которая была одной из ее дорогостоящих причуд. Она была мастерица писать такие письма, набрасывала их размашистым почерком. Но на сей раз мешкала. А все артрит большого пальца.

Хотя за всю жизнь она получила от Несты только два или три письма, она тотчас догадалась, что письмо от нее, и отложила его до возвращения Хэролда. А когда он вернулся, передумала и не распечатала, пока не осталась одна.

Дорогая Ивлин! (Сама Ивлин написала бы «Дорогая моя Ивлин».)

Не знаю, зачем я пишу, разве что сказать, как я тебя люблю. По-моему, Клем тоже тебя любит, только никогда бы в этом не признался. Оба мы неразговорчивые, и от этого наш союз очень странный; я всю жизнь жила с павлинами!

Мало кто знает, что павлины тоже спасители, они искупают наши грехи. Я начала это понимать, когда мы побывали в том храме над Салониками... (или, может, это монастырь?)... там так пустынно, что не поймешь... и вдруг вечер наполнился молчаливыми павлинами... я впервые увидела их в воздухе... потом они стали усаживаться на ночь, хвостами к веткам кедра.

Клем, я думаю, не верит в искупление, потому что в этом не нуждается, у него такие ясные глаза. Чистейшему хрусталию до них далеко. Мы с ним очень во многом схожи, а вот в этом расходимся.

Да, моя бедняжка Ивлин, ты так и не увидела закат! Позволь сказать тебе, что чаще всего он пронзителен, как крик павлина... хотя иной раз вдруг отворит вены, отдавая свою кровь, скорее из любви, но не из милосердия.

Неста Сосен.

Уже сама эта подпись поразила Ивлин Фезэкерли как удар молота. Как же теперь быть с письмом Несты? Будь в нем открытый огонь, можно бы тут же его подавить. А так она положила письмо в ящик и там оно горело, горело и не сгорало.

Никогда еще Ивлин не была так напугана. Самое ужасное, что никогда она не сможет рассказать об этом Хэролду, ни разу она не рассказала ему ничего хоть сколько-нибудь важного. Если б позвонить в полицию или, того лучше, пожарникам, они бы вырвали ее из лап страха. Но это невозможно, хотя есть телефонный справочник и их номера обведены кружками. Не к трезвону приближающихся машин надо прислушиваться, но лишь к испуганным ударам своего бесчувственного сердца.

Вошел Хэролд и только и сказал:

— Хочу кому-нибудь показаться насчет спины. Я думаю, в нашем возрасте разных болей не миновать.

Он сел, пощипывая кожу на тыльной стороне ладоней.

— Я уже три утра подряд звоню в Газовую компанию, а они, видно, не понимают своих обязанностей,— сказала Ивлин, глядя на его сморщенную посиневшую кожу.

И все смотрела на эти так хорошо знакомые руки.

— Хэролд! Не в порядке передняя горелка. Были бы у тебя руки половчей...

— Следовало бы послать за Клемом Даусоном. Клем починил бы,— сказал Хэролд; случалось, он разговаривал сучовато.

На сей раз Ивлин избежала того, от чего невозможно было уклониться утром в одном из каменных ущелий, появившихся в их городе стараниями прогресса. Похоже, ей никак не миновать встречи с Даусонами. Хотя перед ней оказался во плоти один только Клем. Под пиджаком на нем был твидовый жилет, каких уже давным-давно не носят. По крайней мере это давало ей определенное преимущество. И выражение его лица тоже. Чего-то в нем недоставало.

— Кого-кого, а уж вас, Клем, я никак не ожидала встретить в городе,— таким вот лихим тоном она разговаривала обычно с сильными, но безобидными представителями мужского пола.

Он пробормотал что-то про своего поверенного. Или про поверенного Несты?

— Вы знаете,— сказала Ивлин,— я ужасно рада, что Нес-

та в ваших руках.— Однако тотчас отвернулась от них, от красных пальцев, беспомощно сплетенных на жилете.— Бедняжка Неста столько раз создавала дом для других, уж не говорю о ее скитаньях по Европе с Эдди Вулкок. Так от радно видеть, что теперь она создает свой собственный дом

Речь вышла удачная, даже изящная, Ивлин чувствовала, ею можно гордиться.

— Не создавала она дом. Дом уже был,— сказал Даусон.

— Но женщина прибавляет какие-то милые мелочи.

Ветер — не тот, что сотрясал дом на скале,— промчался по бетонному ущелью, протрещал между ними.

— Не из тех она была женщин,— сказал он.— Никаких выкрутасов. Да и я не из тех, кому приятна всякая суета.

— Все получилось просто превосходно. У меня такая тяжесть с души.— Ивлин обрадовалась, что можно быть искренней.

Пока до нее не дошло — Даусон говорит о Несте в прошедшем времени. И она почувствовала, что вся в гусиной коже.

Даусон странно вытянул губы; сухожилия на шее напряглись, точно проволока в той мудреной штуковине. Сейчас он похож на одно из своих же изобретений или на какую-то сбивающую с толку современную скульптуру. Скульптура, что непрерывно движется сама по себе.

— Неста больна,— услышала Ивлин.

Губы Даусона под рыжей щетиной усов все еще вытягивались в поисках нужного слова, и казалось, так будет вечно.

Надо самой попытаться положить этому конец.

— Вокруг столько больных,— согласилась Ивлин.— Вирус гриппа. Я иной раз думаю: чем мы хворали до того, как были обнаружены эти вирусы? Для всех, у кого не в порядке бронхи, в это время года ветер такой предательский.

Она поспешно опустила глаза. Не помнила она, как там

у Несты с бронхами. Но кашлянула за всех тех, кто подвержен бронхитам.

Выражая сочувствие, она твердо решила и дальше сочувствовать лишь в общей форме. Не станет она смотреть в остановившиеся, подернутые слезой глаза Даусона.

— Я что хочу объяснить,— о чем-то он просил.— Неста сама туда пожелала. Для лечения. Уж одно это лечение должно быть ужасно. Я бы ни за что ее туда не поместил... если бы не ее желание... хотя по дороге в эту преисподнюю мы и правда повздорили... она бросила мусор не в то ведро. Это, вероятно, было последней каплей. Для нас обоих. Мы оба слишком добросовестные. И молчаливые. Два молчания, знаете ли, могут в конце концов глубоко ранить друг друга.

Опять Ивлин устала на его руки. Не настолько он павлин, чтобы ему пришлось в голову перерезать себе вены. Его страдание куда более едкое, подспудное.

— Мне так... так... жаль,— сказала Ивлин.— В какой она больнице... или...

Даусон сказал ей название. Которое она, конечно, забудет. Уже забыла.

Ну был бы тут Хэролд. При крутых поворотах от Хэролда толку чуть, но все-таки он придает ей силы действовать с бóльшим блеском.

Что до Клема Даусона, горе ли его, угрызения ли совести, что там он ни испытывал, докучливой навязчивостью становятся несносны. Веки у него воспаленно-красные, буд-то покрашены.

Помочь ему было нечем, и Ивлин пошла прочь. Она ступала так бесшумно, словно улица застлана ковром, словно все двери заперты, словно все несчастные, но, к счастью, беспомощные пациенты сидят за этими дверьми связанные или в шоке и ждут новых кар за свои грехи.

Придя домой, она выпалила:

— Я встретила Даусона. У Несты какой-то нервный срыв. Она в этой... он назвал мне где, но я забыла.

Она тараторила, комкая слова, не для того, чтобы Хэролд

ничего не понял, но чтобы поскорей с этим покончить.

Хэролд, всегда склонный изумляться, сейчас, похоже, ничуть не изумился.

— Разве, по-твоему, это не странно? — спросила Ивлин, не в силах дольше терпеть.

— Нет, — медленно ответил он. — По-моему, не странно.

— Пожалуй, ты прав, — сказала Ивлин. — Нынче столько народу страдает нервным расстройством. Мы живем как под дамокловым мечом... вечно угроза войны... и спешка... и никакой прислуги.

Хэролд сидел, пощипывая кожу на руках.

— У Даусона у самого было нервное расстройство, когда в Египте его уволили со службы, — сказала Ивлин.

Примерно в это время Хэролда потянуло к далеким прогулкам, он уходил один, не говоря Ивлин куда. Не одолевая ее страх, она, наверно, стала бы брюзжать, допрашивала бы его с пристрастием, гадала бы, уж не завел ли он любовницу. Но страха ей и без того хватало, новые поводы были ни к чему, и она помалкивала. Так что Хэролд мог пока отправляться в эти одинокие походы. Он бродил по безлюдным уголкам побережья, среди утесов и лантаны. Однажды он набрел на свалку всякого хлама и уселся передохнуть на край разодранного кресла. Он был глубоко тронут множеством обретших свободу предметов, в частности сломанной музыкальной шкатулкой, оставшейся от поры более утонченных изобретений. Случалось, его застигали солнечные закаты, и их отрешенное неистовство было ему на благо.

Несмотря на все это, он был по-прежнему предан жене. Ивлин ему жена. Если от долгой совместной жизни понятие это стало отвлеченным, все равно оно укоренилось в сознании с железной неколебимостью.

Хэролда влекли и вечера цвета железа, когда море окрашивалось в тона устриц и стали. Манил ветер, что вздымает валы на море, а тебя пробирает до костей, режет, как ножом. Хорошо сесть в конце дня на паром и безвольно отдаться его движенью. Пронизанные ветром воды гавани под

стать сумрачным глубинным думам Хэролда. И ничья чужая мысль ему здесь не навязывается. Половина пассажиров слишком поглощена своей респектабельностью и вечерними газетами, а другая половина с безошибочным чутьем держится тех, в ком признает своего брата-повесу.

Достигнув зрелых лет, Хэролд часто не без смущения слышал, что у него, мол, «почтенная наружность». Не сознавая он вполне трезво свои недостатки, он бы нежился в лучах этой лести. А так приходилось только посмеиваться. И в том, как вызывающе он запахивал свою «почтенную» персону в вышедшее из моды пальто английского твида, чувствовалось даже некое отвращенье. Эта его причуда под конец перешла в привычку, что сказывалось во время его одиноких прогулок — например, однажды к вечеру, когда он ни с того ни с сего вспомнил нелепые пинцетики, которыми Неста Сосен, покуривая, держала сигарету.

Он стоял в одиночестве на палубе ныряющего парома, над волнами, с которых слиняли обычно бьющие в глаза краски. Для большинства пассажиров тут было слишком бурно, слишком ветрено. Они предпочли тесниться за стеклом, оберегая свою изнеженную шкуру. Кое-кто из них явно уповал на выпивку в качестве дополнительной защиты. Кроме Хэролда Фезэкерли, лишь еще один — то ли храбрец, то ли одержимый — склонился над поручнями на носу. Широкоплечий, кряжистый человек этот неотрывно глядел за борт, и Хэролд решил было, он страдает морской болезнью, но, проходя мимо, заметил — оба они наклоняются в лад качке, оба одинаково вдыхают запах идущего по волнам судна, и незнакомец этот вовсе не незнакомец, а его друг Даусон.

Даусон оглянулся. Он был взлохмачен встречным ветром, но вовсе не пьян. Будто мальчишка, он свернул шляпу и засунул в карман пальто, застегнутого на единственную, готовую вот-вот отлететь пуговицу. От сильного порыва ветра его огненные коротко стриженные волосы стали дыбом. Он распустил губы, должно быть, чересчур наглотался воздуха.

Встреча была слишком неожиданная. Хэролд предпочел

бы ее избежать. Несмотря на его долгую и задушевную дружбу с Даусоном, он не мог придумать, как начать подходящую беседу.

— Я ездил навестить жену,— сразу же выпалил Даусон, словно только и ждал случая поделиться.

— Ей, наверно, было весьма приятно,— сказал Хэролд и сам услышал, как напыщенно это прозвучало.

— Не думаю,— сказал Даусон.— Она была очень раздражена. А прежде с ней этого не бывало. Раздражительность — свойство из тех, какие мы оба не приемлем. Но сегодня она была... и говорить не хочется... злобная. Все время жаловалась, что кричат павлины. Конечно, от уличного движения там чудовищный шум. Да еще для человека в ее состоянии. Она, должно быть, про этот шум говорила.

Хэролд Феззкерли не прочь бы разобраться насчет павлинов, хотя бы самому поразмыслить, но сейчас было не время. Понял он другое — в могучем теле Даусона душа уже далеко не так несокрушима, как прежде. Подобное открытие ошеломляет.

Не окажется это состояние столь преходящим, оно вызвало бы брезгливость. Но Даусон — или, может быть, сам дух его громоздкой плоти — решил еще побороться. Он повернулся навстречу обвинению, сцепил руки за спиной на поручнях, выставил грудь и живот навстречу удару, лицо — навстречу кулаку, выпрямился, даже откинулся назад, по ходу движения катера. И в этот миг солнце рассекло грязно-серую чреду облаков, вскрыло и чрево волн, так что из глубин вновь выплеснулись всем напоказ кричащие краски павлиньей яркости и пестроты.

— Господи,— захлебываясь, тяжело выдохнул Даусон,— как-нибудь, когда мы встретимся... при других обстоятельствах... мне надо будет... я попытаюсь рассказать тебе, Хэролд, все, что пережил.— Он говорил с закрытыми глазами.— С нами вот что случилось. Со мной и с этой женщиной. Мы оба жили в одном и том же измерении. Это нас потрясло — вдруг увидели, есть человек, способный читать твои мысли.

Хэролд Фезэкерли и не глядя знал, что из-под красных век под рыжими, в налете морской соли бровями текут слезы.

— Это положило конец тому, что вообще не должно было случиться.

Вскоре они вошли в спокойные воды, под полосатый шатер света. Пассажиры поднимались по мягко покачивающимся дощатым сходням. Откуда-то доносилась прилипчивая мелодия духового оркестра.

Они по привычке обменялись рукопожатием. Один сошел с парома и отправился на автобус, а там и домой — к своему словно бы дому, другой возвращался тем же паромом, никаких других намерений у него как будто не было.

Поначалу Хэролд не упомянул о встрече с Даусоном на пароме, а потом не упоминать было уже просто: ведь это касалось только его.

— Хорошо прошелся? — спросила Ивлин, когда он вернулся, и откусила только что вдетую в иголку шелковую нитку.

В юности она считалась мастерицей вышивать, но вскоре забросила это занятие, опасаясь, как бы люди не усомнились в ее утонченности. И лишь недавно, «под старость», как говорила она с усмешкой, она наполовину иронически, наполовину от тоски по прошлому принялась за какое-то сложное вышивание, чтобы занять себя, когда супруг пренебрегал ее обществом.

Застав жену за вышиванием, Хэролд почувствовал себя виноватым. Весь этот вечер взгляд его был устремлен не столько в книгу, которую он пытался читать, сколько на женину иголку. Он рад был бы поговорить с Ивлин, да не мог. Хорошо, хоть до зимы недалеко и они уедут в Кэрнс.

На следующий вечер он купил ей букет роз.

— Дорогой ты мой, как мило с твоей стороны! — вырвалось у Ивлин, от неожиданности она и не заметила, до чего помяты завернутые в бумагу бутоны.

Увидев, какой неудачный букет он выбрал, Хэролд по-

чувствовал себя еще виноватей, да притом понял, что опять его надули.

Он принес ей и вечернюю газету.

— Не знаю, зачем мы зря тратим деньги,— всегда говорила Ивлин Фезэкерли.

Но вечерние газеты читала. Ей нравилось читать гороскопы, «просто для развлечения», и она с удовольствием — нет, сказать «с удовольствием» не годится, в этом было бы что-то нездоровое,— она читала или, по крайней мере, проглядывала сообщения об убийствах: ее стали занимать «выверты человеческой природы».

— Есть сегодня интересные убийства? — спросил Хэрролд как о чем-то само собой разумеющемся.

— Нету,— ответила Ивлин и тоном, каким обычно изрекала что-нибудь забавное во время их плаваний, продолжала:— Убийцам изменила выдумка.

И тут газета зашелестела у нее в руках.

— Хэрролд,— сказала она.— Клем... Клем Даусон умер. Хэрролда Фезэкерли оглушило.

— Что? — тупо спросил он.— Как... Клем?!

— Несчастный случай... похоже.— Ивлин держала газету как можно дальше от себя.— Вот ужас!

Она решительно делала вид, будто речь идет о ком-то постороннем и Хэрролду следует быть ей за это признательным.

«...направляясь вчера вечером со стороны парома, Клемент Перротет Даусон был сбит проходящим автобусом,— читала она вслух.— Полагают, что смерть наступила мгновенно...»

Но ее приглушенный голос ничего для Хэрролда не смягчил.

— Мгновенно! Как милостиво! — сказала Ивлин.

Непостижима эта, присущая иным женщинам, сила или повелевающая ими условность, что способна и весть о конце света обратить в банальность.

— По-видимому,— продолжала Ивлин,— водитель за-

тормозил и по крайней мере два пешехода пытались остеречь беднягу... Клема, который, казалось, ничего не понял. По-видимому,— цеплялась она за недавно прочитанное слово,— он все шел, споткнулся, так говорят, и упал под автобус.

Она выронила газету, беспорядочно рассыпались листы.

— Раздавлен!

— Так и написано «раздавлен»? — спросил Хэролд.

Потому что хотелось представить себе крупную огненную голову Клема все еще сияющей, ослепляющей откровением, а не расплющенной, будто упавшая на гудрон дыня.

— Нет,— сказала Ивлин.— Не совсем так.

Стены квартиры угрожающе надвигались на них.

— Боже мой, бедняга! Что ж нам делать? — вскинулась Ивлин.

Она вытирала руки маленьким полотенцем для гостей, которое так изящно вышивала.

— Какие-нибудь родные у него есть?

— Не знаю.

Ивлин была безутешна: ну кто сообщит о случившемся Несте в обитель, куда привела ее извечная неприкаянность.

— А ты знал, что Клем еще и Перротет?

Был час, когда ночь начинала звучать незнакомыми головами.

Хэролд?

Хэролд не знал, неизвестно было им также и как распорядятся имуществом Клема.

Оставалось неизвестно, пока Ивлин не получила письмо все от той самой Перри:

Уважаемая миссис Фезэкерли, я побывала в доме и сделала все, что могла, одежду всю отдала Армии спасения ну и прочее, потому как она, бедняжка, совсем больная, говорят, так там и останется. Молодой поверенный уж так старался. Они с мистером Томпсоном обо всем позаботились, дом теперь на запоре, поку-

да мистер Томпсон не приищет покупателя, это, может, и не скоро будет, такой-то дом не всякому по вкусу. Мистер Томпсон агент по продаже недвижимости из Банданы. Такие, стало быть, дела, и коли вы пожелаете сами поглядеть, я подумала, надобно сообщить вам, где ключи.

Как я знаю про вашу старую дружбу с покойником, то и вкладываю фотографию, я сама их снимала после женитьбы. Мне удовольствие, коли она будет у вас. Что она не больно ясная, не взыщите, фотоаппарат у меня так себе, да ведь наперед никогда не скажешь, как оно получится.

Искренне ваша

И. Перри (миссис)

Ивлин предпочла бы не заметить снимка, но все же кинула на него быстрый неодобрительный взгляд. Плохо проявленная фотография уже выцвела. Две крупные бесформенные фигуры застыли посреди пустоты. Хоть, наверно, что-то их соединяло, стояли они как-то врозь, не зная, смотреть ли им друг на друга или в объектив. Фотограф по крайней мере оказался точкой притяжения, куда можно было обратить улыбки, которые иначе устремлены были бы в никуда. Лица смутны, расплывчаты, и все же Ивлин уловила в них выражение неистребимого простодушия, граничащего со слабоумием, как бывает у тех, на кого еще не опустился занесенный топор. Будто у жертвы убийства на фотографии в газете.

Нет, невозможно хранить эту фотографию. Ивлин мигом бы ее разорвала, не будь тут Хэролда, он не то чтобы следил за нею, но все понимал.

— Письмо от той женщины,— сказала Ивлин, ей некуда было податься,— от миссис Перри. Она не прибавляет ничего нового... ну, ничего существенного... чего бы мы не знали.

— А что она могла? Без нее уже все известно.

Ивлин направилась в ванную, она подозревала, что Хэролд теперь долго будет рассматривать фотографию и преда-

ваться печальным размышлениям. Ну, ничего, мужчины не так чувствительны.

Хэролд и вправду позволил себе погрузиться в туманную мглу фотографии. И несколько раз перечел письмо. Будь у него мужество,— а он, хоть и поздновато, осознал, что обладает лишь физической храбростью,— можно бы поехать в Бандану, взять ключ у агента по продаже недвижимости и в последний раз поглядеть на дом Даусона. Но... про это могла бы узнать Ивлин. Нет, такое ему не под силу. Как не под силу войти в тот еще хранящий живое тепло, тихонько поскрипывающий дом, вернее в хибарку — пожалуй, справедливо они его так называли — туда, где совсем недавно печально ворочался на соломе кроткий, но мудрый допотопный зверь и сквозь деревянную решетку выпитывал непостижимость бескрайней синевы, а громадная шелковистая птица складывала и расправляла крылья и устремляла затаенный взгляд в себя, в некую свою предысторию.

Зверь птице не товарищ.

Хэролд Фезэкерли шмыгнул носом, что всегда огорчало его жену. Письмо вместе с фотографией он положил в бумажник, где жар его тела спрессовал немало других документов, про которые он со временем забывал.

Когда Хэролд объявил, что заказал на неделю номер в отеле «Дворец Кэрауонг», Ивлин сочла своим долгом осудить этот шаг и привести свои возражения, но втайне понимала, каким будет для нее облегчением ускользнуть из их крохотной клетки, где слишком тесно от множества смутных чувств.

— Ну разве это, мягко говоря, не сумасбродство? — заявила она.— Мы же в июле собираемся в Кэрнс. И потом, осенью в горах, наверно, тоскливо. Да и не припомню, чтоб кто-нибудь останавливался во «Дворце Кэрауонг». А, одну, вспомнила... машинистку... правда, вполне приличная девушка.

— Так или иначе, дело сделано,— сказал Хэролд.— В четверг мы уезжаем.

Когда они возвратятся из «Кэрауонга», до отъезда в Кэрнс останутся считанные недели.

«Дворец Кэрауонг» был нелепейшей причудой и, построенный на манер замка, разорил своего владельца. Предприимчивые дельцы расширили замок, пристроив два более практичных крыла, не соответствующие ландшафту, и поставили кругом беседок среди вечнозеленого кустарника, пытаясь его укротить. Кое-кто постоянно приезжал сюда весной — на коротке повосхищаться рододендронами — или осенью, когда спят великолепием красок плавающие клены. Но такие любители были слишком малочисленны и скромны, чтобы принимать их всерьез: приезжали на медовый месяц новобрачные, за едой не сводили глаз друг с друга, безмолвно набирались сил для новой схватки; молоденькие машинистки (эти, пожалуй, были самыми подходящими постояльцами) усаживались на позолоченные стульчики в зале для танцев, меж тем деловые люди расхаживали взад-вперед, скованные своими вечерними костюмами, а иностранцы — этих хватало всюду — горевали по Вене и Будапешту и занимали все самые удобные кресла.

Ивлин в первый же вечер мгновенно поняла, как оплошал Хэролд.

— Что поделаешь, придется потерпеть, — вздохнула она. — Закроем глаза... заткнем уши... и будем наслаждаться обществом друг друга.

Она кинула на него один из тех оскорбительных взглядов, какие удавались ей иной раз, когда она чувствовала себя оскорбленной.

— По-твоему, там найдется хоть кто-то стоящий? — спросила она, когда они переодевались к обеду. — Должен же найтись хоть кто-то.

— Надеюсь, — сказал Хэролд.

Он натягивал слишком дорогие носки, которые продолжал покупать по привычке, а исхудавшие ноги ныли.

Когда уже собрались спускаться, Ивлин похлопала мужа по спине. Приятно было думать, что в зале, полном всякого сброда, Хэролд будет самым статным. Скромность помешала

ей задержаться взглядом на своей спине под нежно-коричневым палантином из ондатры, переделанным из некогда весьма элегантного пальто; она лишь на ходу мельком глянула в зеркальную дверцу шкафа.

Внизу надо всем красовались олени рога, бархатная обивка уже повытерлась. Дыня оказалась ужасна. Подали какие-то щепки из рыбы, запеченные в опилках. Одолевать бараний хрящ Ивлин отказалась. Несколько пар новобрачных, проводящих здесь медовый месяц, доедали свои порции зефира и консервированных кружочков ананаса и выходили из оцепенения.

Но потом, в гостиной, за традиционной чашечкой кофе — бр-р, кофе-то растворимый! — Ивлин познакомилась со старой миссис Хаггарт, вдовой скотовода.

— Кофе восхитительный, — сказала миссис Хаггарт, вытягивая губы над чашкой.

— О да! — с улыбкой проскрежетала Ивлин.

Но старая дама оказалась простодушной.

Миссис Хаггарт была из числа пожилых австралийских дам, которые не в меру простодушны, особенно это сказывается в ее привычке выставлять напоказ свое богатство. Сразу видно, ее меховая пелерина — из колонка, прямо восторг, глаз не оторвать! Пожелтевшая под солнцем кожа миссис Хаггарт точь-в-точь как у ящерицы. Тонкий голос ее, словно испепеленный засухой, звучал немногим громче шепота и все на одной скучной ноте. Но она была добрая. Способна улыбаться самому грубому официанту, будто просила у него прощения. Старушка уж до того была добра, что даже удивительно, как она ухитрилась сохранить пелерину из колонка и «кадиллак».

— Мы всегда выезжали за город, — откашлявшись, поведала она Ивлин, — всегда, пока жив был муж... я даже и теперь выезжаю с Биллом... — Ивлин подумала, что вряд ли стала бы называть своего шофера просто «Билл», но миссис Хаггарт так демократична. — Мы ездим по окрестностям, ищем свежую капусту и вообще всякие овощи. Я очень люблю только что снятые овощи.

Это было необыкновенно, Ивлин слушала как завороченная. Она весело склонила голову набок и просто упивалась своей новой приятельницей.

— А вы разве нет? — с неожиданной горячностью спросила миссис Хаггарт.

— Да, конечно, овощи — это очень важно!

Восторженный взор Ивлин приковала нитка бриллиантов без всякой оправы, простодушно висящих на дряблой шее миссис Хаггарт.

Старая дама опустила глаза и, увидев собственное ожерелье, пересекавшее треугольный вырез бархатного платья, успокоилась.

Потом подняла голову и сказала:

— Муж не слишком любил овощи.

Ивлин ни с того ни с сего разозлилась.

— У нас с Хэролдом... с мужем вкусы более или менее совпадают, — сказала она. — А где... где же Хэролд?

Миссис Хаггарт перегнулась через ручку дивана и глянула на пол. Чуть не опрокинулась. Но удержалась. И тем самым явно вложила свою долю стараний в поиски.

— Может быть, он плохо себя почувствовал, — сказала она.

— Едва ли, — сказала Ивлин. — Хэролд никогда не хворает. Это по моей части.

Миссис Хаггарт все поглядывала на тощие руки Ивлин. Потом высказала уж вовсе чудовищное предположение — конечно же, старуха выжила из ума:

— Возможно, он ищет партнершу для танцев.

— Но тут танцуют только по субботам. Насколько я понимаю.

— По-моему, в «Кэрауонге» танцы каждый вечер, — сказала миссис Хаггарт, тусклый голос ее прозвучал чуть оживленной прежнего. — Каждый вечер, — повторила она. — Хотя наверно не скажу, не знаю, куда задевала рекламу.

И укуталась в пелерину из колонка.

— Когда-то мой муж... — едва слышно гнусавила она.

— А вот и он! — сказала Ивлин.

В ожидании чего-то неведомого ее проняла дрожь.

— Кто?

— Хэролд. Мой муж.

За толстыми стеклами очков миссис Хаггарт слабо замерцало вылинявшее любопытство: с чего это так разволновалась ее новая знакомая? Миссис Фезэкерли сидела на краешке дивана, дрожа как девчонка.

И вот миссис Хаггарт увидела ее супруга — из всех, кто был сейчас перед глазами, единственно достойного такой чести, — куда представительней многих, окажись он и в более избранном обществе, еще не слишком потрепанный жизнью, он неторопливо направлялся к ним. А миссис Фезэкерли махала ему рукой в золотых браслетах. Кажется, она сказала, это египетские.

— Вот видите, вы его не потеряли, — утешила миссис Хаггарт. — И, возможно, не потеряете. Разве что произойдет несчастный случай. Если несчастный случай подстроен, тут уж ничего не поделаешь.

Но миссис Фезэкерли не слушала или услышала недостаточно. На шее у нее напряглись жилы. Теперь, когда он уже заметил ее знаки и пробирался через толпу еврейских дам, она еще нетерпеливей подалась вперед, обхватила руками колени, шея побагровела.

Миссис Хаггарт была не из тех, кто предается удовольствиям, но приятно поглазеть на что-нибудь этакое.

— Я уже начала беспокоиться. Куда ты запропастился? — чересчур громко спросила Ивлин Фезэкерли.

— Никуда, — был ответ.

С удовольствием разглядывая Хэролда через большие круглые очки, миссис Хаггарт заметила, что он улыбается жене так, словно плохо ее помнит.

— Просто брожу тут, — сказал мистер Фезэкерли.

Забрел-то он недалеко. А почему не ушел дальше, постеснялся бы признаться. Неловко ему было и от девчоночьего нетерпенья Ивлин, когда она потянулась к нему с дивана, стараясь проникнуть в его мысли. Он защищался беспечностью, которую находил весьма удобной.

Этот отель должен был бы огорчать его, однако даже нравился. Он шел, и огромные телесного цвета розы приглушали его шаги. Он легко лавировал между позолоченными островками, где сидели, как на мели, машинистки, выжидательно складывая губки бантиком и перламутровыми ноготками поправляя волосы. Ничто не предвещало, что если и свалится кусок лепнины, которая с годами явно повыкрошилась, то роковой случай обрушит ее как раз на Хэролда.

Лишь оказавшись в саду, в совсем уж равнодушной, безликой тьме, среди густо растущих, более темных рододендронов и бесплотных голосов, Хэролд Фезэкерли забеспокоился. Нет, не совсем так. Почувствовал — вдруг ему здесь грозит опасность, а он не заслужил права об этом пожалеть. Не зря Ивлин не хотела ехать осенью в горы. Помимо всего прочего, стал пробираться туман.

Традиционные страсти любовников и те не могли согреть усыпанную преющими листьями землю или облагородить кусты, между которыми он шел к первозданным зарослям. А там, на краю, пожалуй, подстерегают открытия, к которым он конечно же не готов. Со стыдом он почувствовал, что исчез, должно быть, слишком надолго и жена, наверно, его заждалась. И он пошел назад, в гостиную, перешагивая через всех, кто лежал у него на пути.

Ивлин повернулась к старой даме, сидящей рядом с нею на диване.

— Мы так прелестно провели время, — говорила жена. — Но от поездки у меня разболелась голова. Думаю, нам пора спать.

Со всем любопытством, на какое была способна, миссис Хаггарт взгляделась в мужчину, за которого решала ее новая знакомая. Что ж, это в порядке вещей. Наверно, оттого миссис Хаггарт и улыбнулась ничего не выражающей улыбкой, обращенной скорее не к настоящему, а к прошлому.

— Я еще немного задержусь, посмотрю, как люди развлекаются, — объявила она. — Послушаю любительское пение.

И тут Фезэкерли услышали, как с одной из ступеней,

лучами расходящихся из глубины гостиной, зазвучала песня «Вот защелкали ножницы, заработал стригаль». Раковина-эстрада, утыканная цветными электрическими лампочками, усилила, отразила звук.

В четырех стенах сверкающей лаком спальни Ивлин дала себе волю.

— Как я и думала, здесь все просто ужасно.

Она сняла серьги поддельного жемчуга, которые с каждой минутой становились тяжелей и грозили прижать ее к земле. Нитку *настоящего* жемчуга она ради сохранности не снимала ни днем, ни ночью.

— Даже и эта старая дама.— Ивлин вздохнула.— Хотя ей нельзя отказать в некоторой утонченности. Великолепная у нее пелерина из колонка, правда?

Свой старый палантин из ондатры она с отвращением кинула на оттоманку.

— Так и вижу Несту... Несту Сосен, кочует с какой-нибудь такой вот старушенцией по этим ужасным отелям,— сказала Ивлин Фезэкерли, сидя за туалетным столиком и намазывая лицо кремом. В зеркальной бездне возникали другие зеркала.— Миссис Хаггарт прямо из ее команды. Неста была бы как раз ей под стать.— Ивлин могла бы уже закончить, она наложила на лицо новый слой крема.— Если только Несте суждено оправиться. Знаешь, ведь очень многие выздоравливают после нервных расстройств. Неста... теперь, когда она овдовела... Ох, нет, Хэролд, пожалуйста, не надо! Я же вся в креме.

И вообще, страсть при свете всегда ее смущала. Но на теплом жире, которым она начала оживлять шею, она ощутила тяжелый холод Хэролдовых рук.

— Ну что тебе далась Неста?

Ивлин сидела за шатким туалетным столиком, и потому он обращался к ее отражению в зеркале.

— Она была нашим другом, верно? — ответила Ивлин тоже его отражению.— Естественно, что она приходит на ум. Да еще в таком месте — вполне естественно.

— Но Неста сейчас жестоко страдает,— сказал Хэролд.—

Даже и представить невозможно, в какой ад она попала.

Его руки нежно льнули к жилистой шее Ивлин, и она разозлилась:

— Разве я виновата, что Неста спятила? Это ты... твой... этот... вечная обуза... твой Даусон. Однажды, когда он гостил у нас в Кафр-эз-Зайяте, я застала его с книгой. С книгой... ох, не могу объяснить. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что рыжие люди — какие-то не такие? Нет, мне не в чем его обвинить. Не о чем сказать: вот отчего вся беда, — а все-таки что-то проскальзывает. Мы несколько раз с ним... поговорили, не то что беседовали, он ведь не способен был выразить свои мысли. Как-то, помню, мы гуляли... вечером... по той манговой роще... при одном виде этого мерзкого фрукта, уж не говорю о запахе, меня трясет от омерзения... Даусон тогда не сказал прямо, но намекнул. Бедняжка Неста! Могу себе представить! С этим рыжим орангутаном! Мало она раньше настрадалась из-за холодной эгоистики Эдди Вулкок Фернандини, как бишь там дальше?

— Не кричи, — остановил ее Хэролд. — Подумают, павлин... Да, Эдди и Неста, должно быть, сожгли друг друга. Но какое это имеет значение, когда горишь вместе... но горишь... — он не мог подобрать слова, — всеми цветами, как павлиний хвост.

Под конец он, похоже, устыдился своих слов.

Ивлин круто обернулась:

— Хэролд, какая гадость! И при чем тут павлины? Значит, ты рылся в моих бумагах!

Теперь перед ними были уже не отражения. Они смотрели в лицо друг другу.

— Мне кажется, с того самого дня, когда мы прочли, как умер Клем Даусон, я пытался простить тебя, Ивлин.

— Ну конечно! — закричала она. — Надо думать, это я толкнула Даусона под автобус! И засадила Несту туда, где она сейчас. Вيني меня, мой дорогой. Я ведь твоя жена.

— Нет, — сказал Хэролд. — Винить следует меня. У нас не было ребенка. Но у меня была ты. Тебя создал я... несомненно! Мое единственное творение!

Она посмотрела на него.

— Ну, мой милый,— грубо выкрикнула она, чего обычно не делала из страха, что кто-нибудь услышит,— мой милый, если б ты хотел меня убить, ты бы не нашел способа сделать это верней,— она закашлялась, захлебнулась словами.

Но, глядя на эту костлявую женщину, свою жену, Хэролд чувствовал: смерть не так уж и страшна.

То, что сейчас у него перед глазами, то, что он сам же сотворил, ему ненавистно. Он ухватил нитку жемчуга — все, что осталось от вязки, которая поначалу так безмерно их радовала. Радовала обоих. Взялся за ожерелье, скрутил, дернул. Раз. Другой. Нитка порвалась довольно легко. Он слушал, как резво катились жемчужины за мебель, ударялись о лакированные поверхности.

Ивлин не сопротивлялась. Слишком велик был ужас. Не узнавала собственного мужа. Выходит, она совсем не знает Хэролда. Может, тогда есть что-то и в ней самой, о чем она не подозревает, чего не знает в себе? Это ужасало еще сильнее.

И оттого никак не удавалось справиться то ли с сухим кашлем, то ли с позывами к рвоте. Будь она более гибкой, она бросилась бы на пол, но гибкой она не была и, пошатываясь, опустилась на четвереньки. Словно на гостиничном ковре очутилось какое-то животное.

Похоже, теперь и ей смерть не так уж страшна.

— Жемчуг,— скулила она, и стало легче от того, что она верна своей практической натуре.

Хэролд сверху смотрел на нее. Грудь в лифчике увяла еще больше. Гостиничная лампа под розовым абажуром, рассчитанная на неуверенных в себе постояльцев, уже не приукрашивала пожухлую грудь.

Не помогала и ему, уже подточенному старостью.

И животному, что ползает по ковру у его ног, роется в поисках жемчужин.

— Бедняжка Ивлин! — невольно заговорил он снова, чтобы как-то вывести их обоих из затруднения.— Мы их найдем. Это я виноват. Лучше при дневном свете. Отодвинем

мебель. Чтоб горничная не вымела их. Еще примет за простые бусины. И выкинет. Или наступит на них.

Они то опускались на колени, то сами же топтали жемчужины, в беспорядочных попытках отыскать путь среди руин их совместной жизни.

Когда Ивлин наконец легла в постель, ее колени еще облеплены были жемчужной крошкой, но ей было не до того.

— Я бы выпила крепкого коньяку,— сказала она.— Если б хватило сил показаться на глаза прислуге. Если б они пришли в такую поздноту. Да и вообще, это стоило бы немислимых денег.

Хэролд минуту-другую поглаживал ее грудь, но ему показалось, она даже не замечает происходящего, да и в нем ничего не происходит.

И он вышел, не в силах к тому же вынести обряд раздевания. Ивлин не пыталась его остановить. Лежала, лишь наполовину прикрытая гостиничной простыней. Делала вид, будто уже засыпает, и похожа была, заметил Хэролд, на неумело откромсанный кусок вареной курицы.

Хэролд шел по коридорам и слышал, как отзываются на его шаги бежевые розы. За плотно закрытыми дверями жизнь шла судорожная, даже яростная, а вот коридоры были пустынные и скупо освещены.

На пороге своего номера стояла миссис Хаггарт в черном кимоно, выставляла свои туфли, видно, воображала, что кто-то ими займется.

— В Харрогите у дверей номеров среди обуви всегда стояли бутылки минеральной воды,— заговорила она, увидев в пустом коридоре единственного постояльца.— Мы с мужем там лечились.

Ее вдруг передернуло.

— Беда с этими дынями,— сказала она,— вечно от них газы.

Шея миссис Хаггарт все еще мерцала голубым бриллиантовым огнем. Прежде чем исчезнуть за дверью, она запахнула ускользящее черное кимоно, прикрывая комбинацию.

Отель уже затихал, оставались лишь отбросы недавних удовольствий: раздавленное на ковре фаршированное яйцо, клочки салата-латука и лиловатых бумажных носовых платков, пощелкивание лениво пущенных пинг-понговых мячей, последний куплет «Коричневой кружечки». Все это не задержало Хэролда. Он был уже у стеклянных дверей. Вырвался на волю. Под конец побежал. Он не мог не слышать себя: бежал бы молодой, казалось бы, стучат копыта, а бег старика — словно сухой шорох удирающего таракана.

Его движения подчеркивали напряженную застылость кустарника. Из рододендронов сочился сок. Зверь, что вторгся сюда, расшвыривая лапами гравий и разрывая унизанную капельками паутину, ничуть не мешал источающим сок кустам. Он был всего ничтожней в пещере тьмы, которую ночь заполняла сталактитами тишины. И сознание это подхлестывало пробиваться все глубже, в попытках наконец стряхнуть с себя что-то, что при свете могло бы показаться лишь проявлением паники.

Зубы Хэролда Фезэкерли выстукивали признание: я перепуганный старик, ищу неведомо чего.

И вот оно уже замаячило. Густые кусты расступились, он метнулся через границу и нырнул в вечнозеленые заросли. Где хлестали прутья. Где из-под его тонких подошв выскакивали камни. И поднятая рапира рассекла щеку. Он чувствовал, плоть поддается. А может быть, пробиваясь дальше и уже не давая себе труда избавиться от холодной паутины тумана, он освободился от некоей несущественной части самого себя. Туман окутал пальцы, прилип к обнаженной скуле.

Он брел, спотыкаясь, сквозь туман, и, словно нарочно ради него, туман начал расступаться, выпуская луну. Хэролд остановился на краю глубокого ущелья, и незачем было туда кидаться, ему там уже знаком каждый камень. Черной водой он обернулся, что текла и текла тонкой струйкой по дну. Отвесной стеной обрыва обернулся, что изъедена потаенными пещерами. Крутыми изгибами могучих деревьев обернулся.

И все время в ущелье лежал туман, дремал, невесомо касался зверя и птицы, по которым скользила целительница луна. Нет, не то чтобы кто-то из них отринул свое земное обличье, просто ночь и туман размыли их черты, сделали доступней их успокоительно схожий облик, к которому он, Хэролд, никогда не решался проявить свою любовь.

Вскоре он пошел назад. Из кухни слышалась чья-то одинокая песня, позвякивала оставшаяся от позднего ужина посуда. В смутной гостиничной полутьме некому было заметить, что черный костюм Хэролда Фезэкерли порвался, из дыры выглядывает колено. Ивлин спала, непритворно спала, лицо блестело от крема и слез. Губами она всасывала жизнь с упорством резиновой груши.

Хэролд все снял со своего словно ставшего незнакомым тела, почистил зубы, вставил их обратно и лег в другую кровать.

Оставшиеся дни они провели во «Дворце Кэраунг» недурно, главным образом благодаря миссис Хаггарт, которая привязалась к Ивлин. Не лишать же старушку ее маленьких радостей.

Обычно во второй половине дня Ивлин и миссис Хаггарт разъезжали в «кадиллаке», который вел шофер миссис Хаггарт, Билл, осматривали окрестности, водопады, заброшенные поселки и входы в пещеры. Внутрь они не входили — но только потому, что все пещеры более или менее на одно лицо. Обeim больше всего нравилось остановить машину и любоваться красивым видом, и Ивлин принималась рассказывать про Нил, а миссис Хаггарт вспоминала, какие она покупала овощи. Так они и сидели, пока первый завиток тумана не подавал им знак, что пора уезжать.

Иногда удавалось уговорить мистера Фезэкерли, и он сопровождал дам, по-военному прямо надев твидовое кепи и не знающее сносу английское пальто. По настоянию миссис Хаггарт он садился рядом с Биллом, и в ее мире вновь воцарялись порядок и мужественность.

— Когда мой муж был моложе, он для поездок в авто-

мобиле надевал кожаное пальто,— говорила она.— Оно восхитительно пахло.

Ивлин по-прежнему с благоговением взирала на пелерину из колонка, которую хозяйка носила только по вечерам, и на бриллиантовое ожерелье, которое иной раз оставалось и на день, так как миссис Хаггарт забывала его снять.

— Неста Сосен...— начала однажды Ивлин Фезэкерли и замолчала.

— Кто? — спросила миссис Хаггарт без особого интереса.

— Одна моя приятельница,— сказала миссис Фезэкерли, заметив, что меняющийся свет совсем по-иному изваял песчаник.

Скоро эта неделя кончилась. Дамы обменялись адресами, хотя даже миссис Хаггарт подозревала, что они никогда не понадобятся.

Но все равно неделя была на редкость приятная.

— Я получила такое удовольствие,— сказала миссис Хаггарт.

Глядя на мужа Ивлин, она растянула почти бесцветные губы в обольстительной улыбке.

— Я вам завидую,— прибавила она столь же бесцветно.— Вы такая прекрасная пара, каждому видно.

Хэролд всегда держался очень прямо, без сомнения, научился в армии. Ивлин этим гордилась.

Фезэкерли по-прежнему путешествовали. В ту зиму они побывали в Кэрнсе. Не сидеть же им было дома, слушая, как поскрипывает шкаф и капает из крана. Они дважды побывали на Барьерном рифе. Им повезло: годы шли, но их организмы, казалось, сработаны навечно. Они летали на Аделейдский фестиваль, но лишь однажды, так как, принимая в мотеле душ, Ивлин сломала ребра. Боль была отчаянная и всего мучительней минуты, когда, придерживая шляпы, чтобы не сорвало встречным ветром, они переходили взлетно-посадочную полосу. Один только раз они отправились в плавание по Тихому океану, это было им не по средствам, да и вообще оказалось ошибкой: их преследовал

запах манго, а море все время выплескивало на них из глубин похороненные мысли. Летали они в Новую Зеландию, но, право же, она слишком отстала от века. (На обратном пути заглох один мотор.) В ту зиму, когда у Ивлин особенно разыгрался артрит — руки ее уже изрядно скрючило — и ее напугала перемена, происшедшая в Хэролде, они снялись с места раньше обычного, на этот раз они посетили Мертвое Сердце.

Хэролд всегда укрывал ее пледом.

— Тебе удобно, дорогая, ты уверена? — обычно спрашивал он.

Супруги Фезэкерли все еще наслаждались пенсионным житем, в автобусах выбирали передние сиденья, чтобы ничто не мешало любоваться видом, а семейные пары из Кофс-Харбора и Хея, из Вуллонгонга и Пик-Хилла вечно спрашивали друг друга, кто же они такие.

Лишь один-единственный раз, пролетая над неправдоподобной красотой деревьев, что хлестали ветвями, Хэролд Фезэкерли вновь почувствовал себя крепконогим путником, широко шагающим по земному шару, и на миг возвратился к былому естественному для него одиночеству и вспомнил лица тех, по ком тосковал, тех, кого так никогда и не коснулся.

Но тотчас поспешил спросить:

— Тебе удобно, милая, ты уверена?

И пока они ездили по своим туристским маршрутам, им так привычна стала смена цветных кадров, что можно было надеяться, их уже не испугает конец — быстрый промельк пустой прозрачной пленки.

Рассказы

На свалке

— Э-эй!

Он крикнул из дому, но она так и не перестала колоть дрова во дворе. Взмахивала правой рукой, все еще сильной, мускулистой, хотя тело у нее уже начинало рыхлеть. Правая взмахивала, а левая висела свободно. Удары приходились слева, справа. С топором она управлялась ловко.

Потому что как же иначе? Нельзя ведь все валить на мужчину.

— Эй, ты! — Это Уолт Уэлли снова окликнул ее из комнат.

Потом Уолт показался на крыльце в старой, замызганной кепке, которую он стащил на распродаже экипировки бейсбольной команды «Янки». Мужчина еще хоть куда, хотя брюшко у него уже начинает выпирать под поясом.

— Опять разыгрываешь из себя черт-те кого? — сказал он, оттягивая посвободнее майку в проймах. Посвободнее — на этом был основан весь уклад жизни у них в доме.

— Да ты что? — возмутилась она. — Ты за кого меня принимаешь? За дубину стоеросовую?

Глаза у нее были сверкающей голубизны, кожа как смуглая кожура персика. Но когда она улыбалась, дело было хуже — раздвигаясь, губы обнажали слюнявые десны и пеньки темных, гнилых зубов.

— Женщины любят, когда их именуют, — сказала она.

Никто никогда не слышал, чтобы Уолт называл жену по имени. Никто никогда не слышал, как зовут эту женщину, хотя ее имя значилось в списках избирателей. А звали ее вот как — Исба.

— Когда что их минует? — спросил Уолт. — А знаешь? Завелась у меня одна мыслишка в уме.

Его жена встряхнула головой. Волосы у нее были своего естественного цвета — вернее, выгорели на солнце. Все ее ребятишки унаследовали материнскую масть, и когда они, золотисто-смуглые, стояли кучкой, откидывая со лба свои непослушные вихры, их можно было принять за чалых лошадок.

— Ну, какая там еще мыслишка? — спросила она, потому что ей надоело стоять, ничего не делая.

— Возьмем-ка парочку холодных бутылок и уедем на все утро на свалку.

— Застарелая она, твоя мыслишка, — проворчала его жена.

— А вот и нет! На свалку, да не на нашу. В Сарсапарилле мы с самого рождества не были.

Она пересекла двор, ворча что-то всю дорогу, и вошла в дом. Навстречу ей, из-за дощатой обшивки, ударил запах стока вперемешку с вонью давленого богабри и гнилой груши. Может, потому, что Уэлли торговали старьем, их жилье, того и гляди, тоже готово было развалиться.

Уолт Уэлли прочесывал свалки. Правда, кроме него, тем же занимались и другие ловкачи. Но если говорить о том, что может пригодиться человеку, так более верного глаза на такие вещи ни у кого не было: использованные батареи и скрипучие кровати, коврик, на котором пятен сразу и не заметишь, проволока и еще раз проволока, настольные и стенные часы, только и дожидаящиеся мига, когда их снова пустят догонять время. Задний двор у семейства Уэлли был завален предметами и коммерческого, и вполне загадочного назначения. А лучше всего там был ржавый котел, в котором близнецы устроили себе домик для игр.

— А как насчет того самого? — Уолт толкнул жену.

Она чуть не ступила в дыру в прогнившем полу кухни.

— Насчет чего того самого?

Полудогадка вызвала у нее полусмешок. Потому что Уолт умел играть на ее слабости.

— Насчет того, чтобы повалиться.

И тут опять началась воркотня. Волоча ноги по дому, она почувствовала, что одежда раздражает ей кожу. Лучи солнца падали своей желтизной на серые вороха назащенных постелей, превращали в золото хлопья пыли по углам комнат. Что-то угнетало ее, какой-то груз давил ей на грудь всей своей тяжестью.

Ну конечно! Похороны!

— А знаешь, Уолт,— сказала она, как всегда сразу меняя тон.— Ты неплохо придумал. По крайней мере мальчишки не будут озоровать. Не знаю только, снизойдет ли до нас этот паршивец Ламми.

— Дождется он, оторву я ему башку,— сказал Уолт.

— Да у него переходный возраст.

Она стояла у окна с таким видом, точно ей было известно решительно все на свете. Это похороны настроили ее на торжественный лад. Вся покрылась мурашками.

— Хорошо, что ты надумал съездить на свалку,— сказала она, направив уничтожающий взгляд на краснокирпичное здание по ту сторону шоссе.— Что меня вконец расстраивает, так это когда покойника мимо моего дома несут.

— Вынос-то не отсюда,— успокоил он жену.— Ее в тот же вечер вывезли. Хоронит «Персональное обслуживание» Джексона.

— Хорошо, что она отдала концы в начале недели. В пятницу — субботу не очень-то персонально тебя обслужат.

Миссис Уэлли стала готовиться к поездке на свалку. Одернула платье. Сунула ноги в туфли.

— А она-то поди думает: гора с плеч. Но виду не подает. Ведь как-никак сестра. Дэйзи, наверно, все кишки у нее вымотала.

Тут миссис Уэлли вернулась к окну. Точно почувствовала. Ну конечно! Вон она! Опять полезла в почтовый ящик, будто не все оттуда уже выгребла. Лицо миссис Хогбен, склонившейся над кирпичной стойкой, в которую был вцементирован почтовый ящик, выражало все, чего ждут от удрученного тяжелой потерей человека.

— Дэйзи была ничего,— сказал Уолтер.

— Дэйзи была ничего,— согласилась с ним его жена.

И вдруг ее кольнула мысль: а вдруг Уолт, вдруг Уолт с ней...

Миссис Уэлли поправила прическу. Если бы ей не хватало того, что было дома,— а вспоминающие глаза подтвердили, что вполне хватало,— она, может, и сама ступила бы на ту же дорожку, что и Дэйзи Морроу.

По другую сторону шоссе послышался голос миссис Хогбен.

— Meg! — позвала она.— Margaret!

Но, как всегда, крикнула так куда-то, без всякого направления. Сегодня ее голос звучал пожиже.

Потом миссис Хогбен ушла.

— Меня как-то взяли на похороны,— сказала миссис Уэлли.— И говорят: загляни в гроб. Хоронили жену одного дядьки. Он был сам не свой от горя.

— Ну и заглянула?

— Так, для виду.

Уолт Уэлли пыхтел в жаркой комнате.

— Как ты думаешь, когда от них начинает идти тяжелый дух?

— Тяжелый дух? Этого там не допустят,— решительно ответила его жена.— От тебя от самого идет тяжелый дух. И что ты не помоешься, Уолт?

Но его дух все-таки был приятен ей. Этот дух проводил ее из тени в яркую солнечную полосу. Они смотрели друг на друга, а их тела делали свое дело. Лица у обоих светились уверенностью в непреложности жизни.

Уолт щипнул ее за левый сосок.

— Завернем по дороге к «Быку» и возьмем там те самые холодные бутылочки.

На сей раз он сказал это шепотом.

Миссис Хогбен крикнула еще раз-другой. Прохлада комнаты ударила ей в лицо сразу за кирпичной кладкой входа. Она любила прохладу, но не холод, а сейчас ее ознобило,

и очень уж внезапно. И она заняла чуть слышно, жалуясь на то, сколько всего человеку приходится терпеть, а тут еще и смерть. Хотя умерла ее сестра Дэйзи, миссис Хогбен оплакивала не сестру, а свою смерть, которая только и ждет, когда можно будет пожаловать за ней самой. Она крикнула: «Me-eg!» Да разве кто-нибудь придет тебе на помощь! Она остановилась и стала рыхлить землю у корней алюминума. Ей всегда надо было что-нибудь делать. Работая, она чувствовала себя лучше.

Мег ее, конечно, не слышала. Она стояла среди кустов фуксии, выглядывая из их зеленой сени. Она была тоненькая и веснушчатая. И уж сегодня-то, наверно, выглядит ужасно, потому что мама велела ей надеть школьную форму ради парадного выхода на похороны тети Дэйзи. При таких обстоятельствах она не только казалась, но и на самом деле была худее обычного. А еще эта миссис Айрленд, которая только и печется что о спорте, запретила ей косолапить и велела следить, чтобы носки врозь, не то так и вырастет с вывернутыми внутрь коленками.

Мег Хогбен и выглядела и чувствовала себя ужасно. Лицо у нее было зеленое, там, где борьба между светом и тенью не ляпала ей пятен на кожу, а кисточки фуксии, с дрожью касавшиеся ее ничего не ведавшей щеки, не вливали в эту щеку хоть немножко своей крови, полосуюя ее переливчато-красным. Одни лишь глаза не меняли цвета. Они были серые, но не совсем обычного оттенка. Лорра Дженсен, сама голубоглазая, говорила, что глаза у Мег как у подслеповатой кошки.

Не то шестеро, не то семеро ее одноклассников — Лорра, Эдна, Вэл, Шерри, Сью Смит и Сью Голдстейн — держались на каникулах дружной компанией, хотя иной раз Мег не могла понять почему. Во вторник вечером они пришли всем скопом к Хогбенам.

Лорра сказала:

— Мы решили съездить в среду в Барранугли, искупаемся в бассейне. У Шерри там есть знакомые ребята и еще двое военных. Они обещали покатать нас, когда мы приедем.

Мег не знала, радоваться ей или стыдиться.

— Я не смогу,— сказала она.— У меня тетя умерла.

— Аааааааа,— протянули их голоса.

И они тут же смылись, точно испугавшись заразы.

Но все-таки пробормотали что-то.

Мег почувствовала, что на время она приобрела некоторую значительность.

И вот теперь, в день похорон тети Дэйзи, она стояла среди кустов фуксии наедине со своей покойницей значительностью. Ей шел пятнадцатый год. Она вспомнила золотое колечко, которое тетя Дэйзи обещала ей. Когда меня не будет, сказала тетя. И вот теперь это случилось. Мег беззлобно подумала, что вряд ли тете Дэйзи было время вспомнить о кольце и что мама, конечно, заберет его в придачу ко всему прочему.

И тут в кустах камфарного лавра, напротив, потряхивая выжженными солнцем волосами, появился этот Ламми Уэлли. Она терпеть не могла белобрысых мальчишек. И вообще всех мальчишек. И не терпела, когда нарушали ее уединение. Но больше всех не терпела этого Лама. А как он бросил в нее собачью какашку! Ей тогда всю шею свело. Ф-фу! Правда, эта мерзость была совсем сухая и только скользнула по ней, но она тут же ушла в дом и заплакала, потому что бывают все-таки случаи, когда надо блюсти свое достоинство.

А теперь Мег Хогбен и Ламми Уэлли при встречах глядели прямо перед собой, не замечая друг друга.

Ах, у Мегги ножки-спички.

Не хочу такой я птички.

Голос Лама Уэлли, как папиросная бумажка на гребенке, вибрировал в кустах камфарного лавра, который Хогбены вот уже много лет рубили на дрова. Его нож полосовал кору лавра. Как-то раз жарким вечером он вырезал на стволе дерева «Я ЛЮБЛЮ МЕГ», потому что так принято делать, например, на стенах уборных и в вагонах, но это, конечно, ничего особенного не значило. Вырезал, а потом начал

полосовать ножом темноту, точно вагонную скамейку в поезде.

Лам Уэлли притворился, будто не видит Мег Хогбен, торчавшую в кустах фуксии. В школьной форме. Вся будто скованная, еще хуже, чем в школе, вся коричневая, потому что сегодня хоронят ее тетку.

— Me-er! — крикнула миссис Хогбен.— Meg!

— Ламми! Куда ты к черту провалился? — крикнула его мамаша.

Она всюду его искала — в сарае, за уборной. Ну и пусть ищет.

— Лам! Ламми! Ах, чтоб тебе! — кричала она.

Ему это имечко было ненавистно. Кличет точно сопливого мальчишку. В школе он велел звать себя Биллом — серединка на половинку: не так позорно, как Лам, и не так ужасно, как Уильям. Миссис Уэлли появилась из-за угла.

— Осипла, тебя звавши! — сказала она.— А знаешь, что папа придумал? Мы поедем на свалку у Сарсапариллы.

— Хм! — сказал он.

Но не плюнул.

— Что это на тебя находит? — спросила она.

Даже когда дети миссис Уэлли были вовсе неприступными, она любила трогать их. Прикосновение часто помогало мысли. Но ей нравилось и самое касанье. Она была рада, что у нее не девочки. Мальчишки становятся мужчинами, а без мужчин шагу не ступишь, даже если они считают тебя дурехой или пьют лишнее, а иной раз и поколотят.

И теперь тоже она положила руку Ламми на плечо, стараясь добраться до него. Он был одетый, но мог быть и голым. Для таких, как Ламми, одежда лишнее. В свои четырнадцать лет он выглядел старше.

— Вот что,— сказала она с напускным раздражением.— Плясать вокруг тебя, неслуха, я не стану. Не хочешь, как хочешь.

И ушла.

Как только отец вывел из сарая старый рыдван, Лам тут же залез в кузов. Тут, в кузове, он, по крайней мере,

будет сам по себе, хотя это вам не шикарный «кастомлайн».

Тот факт, что у семьи Уэлли, кроме пикапа, был еще и «кастомлайн», вызывал удивление у людей здравомыслящих. Красуясь на паспалюме* перед их халупой, он казался краденым, и так оно почти и было — третий взнос-то просрочен. Но что ему стоило скатать подальше, в Барранугли, и подремать на стоянке у гостиницы «Северная»? Лам мог бы простоять целый день, любуясь их двухцветной машиной. Или, растянувшись на заднем сиденье, щупать пальцами ее податливую плоть.

Сегодня едут в пикапе, поездка деловая. Костяк его ягодиц упирался в доски. Мясистая рука отца, высунутая из окошка кабины, вызывала в нем отвращение. А вот и близнецы выбрались из своего ржавого котла и лезут в кузов. Белобрысый Гэри — или это Бэрри? — свалился и ободрал себе коленку.

— Ах, чтоб тебе! — крикнула миссис Уэлли и потрянула такими же белесыми волосами.

Миссис Хогбен видела, как эти Уэлли уехали.

— Подумать только — в таком районе, как наш! — в который раз сказала она мужу.

— Все в свое время, Миртл. Доберемся и до них, — снова ответил ей советник Хогбен.

— Ну конечно, — сказала она, — если на то будут причины.

Ибо она знала, что у советников причины имеются решительно на все.

— Но такой домишко! И вдруг «кастомлайн»!

От раздражения она исходила слюной.

Ведь не кто другой, как Дэйзи, говорила: «Я хочу наслаждаться всем хорошим, что может дать жизнь». А умерла в убогом жилье, и у нее всего и было-то что одно-единственное ситцевое платишко. А у Миртл кирпичный темно-бордовый дом — на потолках ни единого пятнышка от сырости, у нее стиральная машина, канализация, телевизор

* вид травы.

и «холден» кремового цвета, не говоря уж о муже. Советник Лесли Хогбен. И к тому же строитель по специальности.

Сейчас Миртл стояла среди своих владений и так бы и продолжала сокрушаться о «кастомлайне», за который Уэлли не расплатились, если бы не сокрушалась о Дэйзи. Миссис Хогбен оплакивала не столько смерть сестры, сколько ее жизнь. Но ведь все всё знали, и тут уж ничего не поделаешь.

— Как ты думаешь, придет кто-нибудь? — спросила миссис Хогбен.

— Я что, по-твоему, ясновидящий? — ответил ей муж.

Миссис Хогбен его не слышала.

Вчера, обсудив все как следует, она поместила в «Геральде» объявление о смерти Дэйзи:

МОРРОУ ДЭЙЗИ (миссис),
скоропостижно, у себя дома,
Выставочное шоссе, Сарсапарилла.

Больше добавить было нечего. Поскольку Лесли на государственной службе, упоминать о родстве было нельзя. А то, что миссис... да ведь к ней привыкли так обращаться с тех пор, как она сошлась с Каннингемом. Казалось, это в порядке вещей, потому что их отношения затягивались и затягивались. Успокойся, Миртл, говорила Дэйзи, мы поженимся, когда его жена умрет. Но первым умер сам Джек Каннингем. Дэйзи сказала: «Ничего не напишешь, так уж вышло».

— Как по-твоему, Осси придет? — спросил жену советник Хогбен, так растягивая слова, что ее это покорило.

— Я об этом не думала, — сказала она.

А значит, думала. По правде говоря, она проснулась среди ночи и лежала вся холодная, окаменелая, представляя себе мокрый нос Осси.

Миссис Хогбен ринулась к ящику комода, который кто-то — во всяком случае не она! — открыл и не задвинул. Она была худощавая, но жилистая.

— Мер! — крикнула она. — Ты почистила туфли?

Лесли Хогбен засмеялся, не раскрывая рта. Его всегда разбирал смех, когда он думал о прощальной причуде Дэйзи: сойтись с этим опустившимся, шелудивым заморышем Осси, подобрать его на выставочном пустыре! Впрочем, кому какое дело?

Никому, разве только ее родне.

Миссис Хогбен ужасала мысль, что Осси, вдобавок еще и католик, будет стоять у могилы Дэйзи, — даже если никто его не увидит, даже если увидит только мистер Брикл.

Когда советник Хогбен вспоминал Осси Кугена, он в который раз с вывертом всаживал мысленно нож в свояченицу.

Теперь, может, он был и рад, что она умерла. Миниатюрная, меньше его жены ростом, Дэйзи Морроу была натурой широкой. Стоило только ей появиться, как она сразу заполняла собой весь дом. Ей только дай возможность, наболтает всего с три короба. Дошло до того, что Лесли Хогбен не мог слышать ее смех. Прижался к ней однажды в коридоре. Он уж и забыл об этом или почти забыл. Как тогда Дэйзи хохотала! Что мне — мужчин не хватает, чтобы я стала крутить с собственным зятем? А разве он тогда действительно прижался к ней? Да не так уж сильно и во всяком случае не намеренно. Этому эпизоду было дозволено поблекнуть в памяти советника Хогбена, выцвести, как выцвел коричневый линолеум у них в коридоре.

— Телефон, Лесли.

Это сказала его жена.

— Я не могу говорить. Я слишком расстроена.

И заплакала.

Оправляя брюки в шагу, советник Хогбен вышел в коридор. Звонил старый приятель Хорри Ласт.

— Да... да... — говорил мистер Хогбен в телефонную трубку, которую его жена всегда протирала одеколоном «Аромат сосен». — Да... В одиннадцать, Хорри... Из Барранугли... от джексоновского «Персонального». Да, мы это ценим, Хорри.

— Хорри Ласт, — доложил жене советник Хогбен. — Решил присутствовать приличия ради.

— Если никто другой, так хотя бы этот окажет честь Дэйзи — он тоже советник, — утешилась Миртл Хогбен.

А что было делать? Хорри Ласт положил телефонную трубку. Они с Лесли держались друг за дружку. Действовали сообща, когда надо было заручиться поддержкой более прогрессивно настроенных избирателей. Хогбен и Ласт способствовали развитию строительства в штате. Лесли построил дом Хорри. Ласт с женой продали свой Хогбенам. Если кое-кто распустил слух, будто Ласт и Хогбен сузили площадь Зеленого пояса, так ведь понимают ли эти «кое-кто», что сам термин допускает разные толкования?

— Что ты им сказал? — спросила его жена.

— Сказал, что приеду, — ответил ее муж, поигрывая мелочью в кармане.

Он был коротышка и стоял обычно широко расставив ноги. Джорджина Ласт воздержалась от реплики. По общепринятым понятиям недурная собой, она будто была слеплена из нескольких плюшек, слипшихся на противне.

— Дэйзи Морроу, — сказал Хорри Ласт, — была не такая уж непутевая.

Миссис Ласт промолчала.

Он стал еще быстрее перебирать монеты в кармане, точно стараясь сбить из них пену. Хорри Ласт, заметьте, не раздражался на жену — она принесла ему в приданое небольшой земельный участок, что вызвало в нем интерес к недвижимой собственности. Но он часто подумывал о том, как бы завести на стороне интрижку с Дэйзи Морроу. Старикан Лесли Хогбен наверняка пошаливал с сестрой жены. Говорят, помог ей купить домишко. Затемно у Дэйзи всегда был свет в окнах. Почтальон оставлял ей почту не в ящике у калитки, а носил на веранду. Летом, когда контролеры ходят по домам проверять счетчики, она обычно приглашала их в комнаты выпить пива. Дэйзи умела располагать к себе людей.

Джорджина Ласт громогласно откашлялась:

— Ходить на похороны не женское дело,— и взяла с кресла джемпер, который вязала двоюродной сестре.

— Ты туфли так и не почистила! — возмутилась миссис Хогбен.

— Нет, почистила,— сказала Мег.— Это пыль. И вообще не понимаю, зачем чистить обувь! Все равно пачкается.

Как не идет ей эта школьная форма! И щеки запали, а она знает, она читала, что это бывает только от отчаяния.

— Нельзя отступаться от своих принципов,— сказала миссис Хогбен и добавила: — Сейчас папа подаст машину. Где твоя шляпа, милая? Через две минуты мы выезжаем.

— Ой, мама! Шляпа?

Эта мерзкая школьная шляпчонка! Она уже год назад как стала мала ей, и все равно никуда от нее не денешься!

— Ты же в церковь в ней ходишь.

— Но мы ведь не в церковь.

— Ну, это почти то же самое. И вообще надо оказать уважение тете,— сказала миссис Хогбен, лишь бы поставить на своем.

Мег сходила в дом и вернулась в шляпе. Они прошли мимо кустов фуксии, мимо гипсовых гномов, на которых миссис Хогбен приучила свою дочку надевать пластмассовые мешочки при первых каплях дождя. Мег Хогбен видеть не могла этих противных старомодных чертяк, даже после того, как пластмассовые колпаки закрывали их физиономии.

В машине стало грустно, стало мечтательнее. Она глядела в окно, и тесная панама, торчавшая у нее на голове, утратила свои унижающие человека свойства. Всегда такой пытливый, взгляд ее серых глаз под темной челкой снова стал вбирать в себя все подряд, но сколько она ни смотрела, ей было мало этого. Они проехали мимо дома, в котором, как ей сказали, умерла ее тетка. Маленький розовый домик с навесом, утопающий в гвоздиках, и правда стал какой-то безжизненный. А может, это слепящий солнечный свет обесцветил его. Как сияли те утренние часы, когда тетя Дэйзи ходила между цветочными грядками в тяжело об-

висшем от росы халате и охапку за охапкой перевязывала бечевкой курчавые цветы. Голос тети, чистый, как утро. Про туго перевязанные цветы, громко говорила она, не скажешь, что они негибкие, а, Мег, ну-ка, что они тебе напоминают? Но до чего трудно отвечать на вопросы взрослых! Замерзший фейерверк, подсказала Дэйзи. Мег влюбилась в эту мысль, она любила Дэйзи. Не такие уж они замерзшие, осмелилась сказать она. Когда солнце падало на росистые цветы, они точно рассыпались и начинали кружиться вихрем.

Запах гвоздик с кружащихся соцветий, с их голубоватых, холодных стеблей ворвался в затхлую машину и сразил Мег Хогбен. И тут она поняла, что напишет стихи о тете Дэйзи и о гвоздиках. И удивилась, почему такая мысль не приходила ей в голову раньше.

На этом участке дороги машина начала скакать по рытвинам, и ее пассажирам пришлось терпеть жесточайшие муки. Миссис Хогбен вдруг перестала звать к Комиссии по дорожному строительству. Она гадала, не прячется ли тут Осси за опущенными шторами? А что, если он, что, если... Она полезла в сумку за вторым носовым платком. Предусмотрительность внушила ей, что надо взять два — чтобы использовать у могилы красивый, с кружевной оторочкой.

— Они тут так нахозяйничают, — возопила она во весь голос, — что все сорняком зарастет!

Потом стала расправлять свой непарадный носовой платок.

Миртл Морроу всегда считалась натурой более тонкой душевной организации. Миртл понимала Библию. Ее вышиванье, ее вязаные тамбуром салфеточки получали премии на местных выставках. Кто другой мог извлечь столько чувства из пианолы? Но любила цветы Дэйзи. Вот мускусная роза, совсем еще маленькой говорила Дэйзи, словно пробуя на вкус эти слова.

Поплавав, миссис Хогбен заметила:

— Девушки понимают свое счастье, только когда оно проходит. — Другие пассажиры ничего не ответили на такое

заявление. Они знали, что этого от них и не ждут.

Советник Хогбен вел машину по направлению к Барранугли. Шляпу он приладил еще дома. Снял улыбку с губ, увидев ее в зеркальце. Хотя он уже не решался выставлять на перевыборах свой прежний снимок, ему часто удавалось произвести впечатление и в настоящем своем плотском обличье. Но сейчас, при таких сложных обстоятельствах, советник Хогбен руководствовался чувством долга. Он вел, он вел машину мимо ретиноспора, отягченного собственным золотом, мимо зарослей лагерстромии, перегоняющей свою розовую сладость в мучнистую росу.

Чета Уэлли затеяла спор на свалке — пить ли пиво сразу после приезда или подождать, когда начнет мучить жажда.

— Ну так держи его при себе! — Мамаша Уэлли повернулась к мужу спиной. — Зачем тогда холодным покупать, если дожидаться, пока оно согреется. И вообще, — добавила она, — я так и думала, что пиво у тебя только предлог для поездки.

— Аааа, перестань! — сказал Уолт. — На свалке мы дело делаем. С пивом ли, без пива. Верно я говорю? В любой день недели ездим.

Он понял, что она начинает дуться. Посмотрел на ее длинные груди, болтающиеся под платьем. Вот корова дурная! Он рассмеялся. Но бутылку откупорил.

Бэрри сказал, что ему хочется пить.

Послышался звук сердитого отсоса, когда губы его мамыши оторвались от горлышка бутылки.

— Только мне не хватает стоять и смотреть, как мой сынок, — проговорил ее мокрый рот, — превращается в алкоголика.

Глаза у нее пылали сейчас ярчайшей голубизной. Не потому ли Уолт Уэлли восхищался своей женой, что она до сих пор возбуждала в нем желание?

Но Ламми решил обратиться от них подальше. Когда его мамаша начинала беситься и сыпать руганью, ему уж очень бросались в глаза корешки ее зубов, их гниющая коричне-

вая мерзость. Если сам ругаешься, дело другое. Бывает, что без этого не обойдешься.

Сейчас он решил обойтись без этого и смылся, пробираясь между старыми матрасами и обувью, покореженной солнцем. Ловушек тут было сколько угодно: ржавые консервные банки с зазубренными краями так и поджидали ни в чем не повинные щиколотки, горлышки разбитых бутылок будто готовились полоснуть по лицу. И он шел осмотрительно, откидывая ногами грязные листы асбеста, раздавил целлулоидную куклу. Кое-где мусор, казалось, брал верх над зеленой порослью. Натиск металла оттеснял ее в овраг. Но в местечках потаенных, влажных бунт не стихал: семена растений попадали в клочья серой растрепанной матрасной набивки, и груды поломанных стульев, мотки пружин, запутавшиеся в витках цепких побегов, поддавались более жизнестойкой силе. Где-то на обочине этого царства распада союзник в образе человека, прежде чем уйти, разжег костер, и теперь зелень успела почти придушить его, оставив только запах дыма, состязающийся с более тошнотворным смрадом медленного разложения.

Лам Уэлли ступал с бессознательной грацией. Хватит с него этой свалочной петрушки. Хорошо бы узнать, как люди живут в чистоте. Вот, например, Черный. У Черного, Блэка, все люди живут на своем месте в кабине трейлера. И вдруг ему так захотелось побыть с Черным, что перехватило горло. Руки Черного, крутящие баранку руля, точно управляли всем миром.

Две-три полосы колючей проволоки отделяли сарсапариллскую свалку от сарсапариллского кладбища. Участки у различных вероисповеданий тоже были отдельные, но где какой, можно было узнать по фамилиям или по ангелам и прочим вещам, которыми украшают могилы. Там, где, наверно, был участок англиканской церкви, Альфред Герберт кончал рыть могилу миссис Морроу. Он докопался до глины, и работать стало труднее. Комки ее неохотно сползали с лопаты.

Если то, что говорят о миссис Морроу, правда, значит, хороша была! Лам Уэлли подумал: а что, если б он встретил

ее на тропинке в буше и она бы улыбнулась ему? По коже у него пробежали мурашки. Ламми еще не бывал с женщиной, хотя притворялся, что было такое дело, чтобы не ронять своего достоинства среди мальчишек. Он подумал: а что, если бы с этой девчонкой, если бы с этой занудой Мег Хогбен? Наверно, кусалась бы. Ламми стало страшновато, и он снова вернулся к мыслям о Черном, Блэке, который никогда не говорил о таких вещах.

Потом он пошел дальше. Альф Герберт стоял опершись на лопату: ему, наверно, хотелось поболтать. Ламми болтать не собирался. Он свернул в рябую под солнцем чашу зарослей — будто бы в тень. Лег под банксией и расстегнул брюки. Но скоро ему стало противно разглядывать самого себя.

Процессию, двигавшуюся из Барранугли в Сарсапариллу, вряд ли можно было именовать процессией: его преподобие Брикл, «холден» Хогбен, «холден» Хорри Ласта следовали за катафалком Джексона, из тех, что поменьше. В данном случае похороны справлялись по дешевке — не было повода роскошествовать. В Сарсапарилле к ним присоединился мистер Джилл, восседавший на высоком сиденье своего старенького «шевроле». Им тоже было бы целесообразнее присоединиться к катафалку в Сарсапарилле, со вздохом подумал советник Хогбен. Присутствие старика Джилла объяснялось только тем, что Дэйзи долгие годы была его постоянной покупательницей. Бакалейщик не шибко преуспевал, Дэйзи говорила, что ходит к нему потому, что он ей симпатичен. Ладно, если для тебя это главное, пожалуйста, но что ты от этого выгадываешь?

Перед последней рытвиной, недоезжая кладбища, со свалки, извиваясь, пополз через дорогу выпотрошенный матрас. Это было похоже на какое-то чудовище, исторгнутое из тайников чьего-то воображения, куда человек порядочный не заглядывает.

— Боже мой! И где — на кладбище! — возмутилась миссис Хогбен. — Удивляюсь, чего комитет смотрит! — добавила она, не сдержавшись даже при муже.

— Ладно, Миртл, ладно,— сквозь зубы процедил ее муж.— Я взял это на заметку.

Что другое, а брать на заметку советник Хогбен умел.

— И такие вот Уэлли прямо у твоего порога! — просто-напросто миссис Хогбен.

А что там происходит в жаркие дни на глазах у их ребятишек!

Катафалк въехал в кладбищенские ворота. Теперь он двигался по ухабистой дороге под уклон, вдоль зарослей паспалима, переходящих в негустую траву. Листва на деревьях оборачивалась к ним серой изнанкой. Даже сорок не было слышно, ни одна не подбодрит христианскую душу. Но навстречу им вышел Альф Герберт — руки в желтой глине — и показал, как катафалку проехать между методистами и пресвитерианцами к англиканскому участку.

Тряска снова вызвала на поверхность горе миссис Хогбен. Ее чувства произвели сильное впечатление на мистера Брикла. Он поговорил немного о дорогих и близких нашему сердцу. И когда помогал ей вылезти из машины, руки у него были добрые и профессионально мягкие.

Но Мег решила прыгнуть сама. И приземлилась. Неприятно было услышать, как громко хрустнула ветка под ногами. Маме, наверно, такой хруст показался богохульством. А шляпа Мег цвета банана свалилась при этом с головы в густую траву.

У могилы всем было как-то неловко. Мужчины помогли нести гроб, а советник Ласт только мешал им из-за своего маленького роста.

И тут миссис Хогбен увидела — она увидела сквозь кружево своего носового платочка, увидела этого Осси Кугена по другую сторону могилы. Старик Джилл, что ли, его привез? Осси, не на все пуговицы застегнутый, стоял за кучкой желтой глины и шмыгал носом.

Никакими силами нельзя было осушить его нос. Дэйзи часто говорила ему: чего ты боишься, Осси? Когда я с тобой, тебе нечего бояться, понятно? Но ее уже нет. И теперь ему было страшно. Он боялся всех протестантов — всех, кроме

Дэйзи. Так я ведь не такая, говорила она, меня ты к ним не причисляй. Я просто люблю то, что нам дано любить.

Миртл Хогбен была возмущена до крайности, хотя бы потому, что она читала в мыслях советника Ласта. Ей хотелось бы дать волю своим чувствам, если б это можно было сделать, не оскорбляя господ бога. Потом вверх по ногам у нее поползли муравьи: она стояла на муравьиной куче, и все эти несправедливости ознобом пробежали у нее по коже.

Дэйзи! — возопила она в тот день, когда все это началось. Ты в своем уме? Увидев сестру, она выбежала ей навстречу, оставив белый соус подгорать на плите. Куда ты его везешь? Он болен, сказала Дэйзи. Не смей этого делать! — воскликнула Миртл Хогбен. Потому что ее сестра Дэйзи везла на тачке какого-то нищего старика. Люди выбегали из домов по всей Выставочной улице поглазеть на такое зрелище. Везя тачку сначала под уклон, а потом толкая ее в гору, Дэйзи стала как будто меньше ростом. Прическа у нее растрепалась. Не смей этого делать! Не смей! — кричала Миртл. Но Дэйзи посмела. И Дэйзи так и сделала.

Когда провожающие, всего несколько человек и все в парадной одежде, столпились у могилы, мистер Брикл открыл требник, хотя, судя по его голосу, ему этого вовсе и не было нужно.

— Я есмь воскресение и жизнь, — сказал он.

И Осси заплакал. Потому что он не верил в это, особенно после того, что случилось.

Осси смотрел на гроб, на останки того, что он знал. Ему вспомнилось, как он ел печеное яблоко, ел медленно, слизывая варенье с верхушки. И снова его поглотила темнота конюшни, где он, злосчастный, лежал в навозе, а она вошла в стойло и чуть не накатила на него тачку. Вам что здесь нужно? — напрямик спросил он. Мне нужно честного навозцу, вот за ним я и пришла, хватит с меня этих мудреных удобрений, сказала она, а ты что, болен? Я здесь живу, сказал он. И, заплакав, стал утирать сопли со своего мокрого носа. Дэйзи постояла и говорит: поедем ко мне... как там тебя...

Осси, что ли? По ее голосу он почувствовал, что все так и будет. Пока он ехал в тачке вверх по склону, ветер резал ему глаза и раздувал его жиденькие космы. В прошлые годы он, случалось, находил у себя в волосах двух-трех вшей, и теперь, когда Дэйзи брала его к себе, ему хотелось думать или надеяться, что он от них избавился. Она толкала тачку, налегала на рукоятки, иногда наклонялась вперед, и он чувствовал ее тепло и как налитые груди касались его спины.

— Скажи мне, господи, кончину мою и число дней моих, дабы я мог удостовериться, долог ли век мой, — читал мистер Брикл.

Дабы я мог удостовериться, вот именно, подумал советник Хогбен, глядя на этого дряхлого Осси.

Который стоял, чуть слышно бормоча молитвы, как его учили еще в детстве.

Когда все это было на полном ходу, когда произносились все эти слова, которых, как Мег знала, тетя Дэйзи не одобрила бы, она отошла от могилы и подлезла под колючую проволоку, отделяющую кладбище от свалки. Она впервые попала на эту свалку, и сердце учащенно забилося у нее в боку. Она несмело пробиралась сквозь заросли буша. Под ноги ей попались старые подтяжки. Она споткнулась о примус.

Потом увидела Лама Уэлли. Он стоял под банксией, теребя пальцами ее вялый цветок.

И вдруг оба они поняли, что есть нечто такое, чего ни ей, ни ему не удастся больше избежать.

— Я здесь на похоронах, — сказала она.

В голосе у нее звучало... ну, чуть ли не облегчение.

— А ты часто сюда приходишь? — спросила она.

— Не-а, — хрипло проговорил он. — Сюда — нет. А на свалку — да.

Но ее вторжение нарушило предрешенный ход его жизни, и рука у него задрожала.

— А тут есть что посмотреть? — спросила она.

— Хлам, — сказал он. — Один хлам.

— А ты глядел когда-нибудь на мертвеца?

Потому что она заметила, что рука у него дрожит.

— Нет,— сказал он.— А ты?

И она нет. И вряд ли теперь поглядит. Дыхание у них снова стало ровное.

— А ты вообще что делаешь? — спросил он.

И хотя ей хотелось заткнуть себе рот, промолчать она не смогла. Она сказала:

— Я пишу стихи. И напишу о моей тете Дэйзи, о том, какая она была, когда срезала цветы рано утром еще по росе.

— А что ты за это получишь?

— Ничего,— сказала она.— Наверно, ничего.

Но разве это было важно?

— А еще про что ты сочиняешь? — спросил он, открутив наконец вялый цветок банксии с ветки.

— Раз я написала о вещах, что в шкафу,— сказала она.— Потом про сон, который мне приснился. Про запах дождя. Но оно получилось совсем короткое.

Тогда он посмотрел на нее. Он никогда еще не смотрел в глаза девушкам. Эти были серые и прохладные, не то что горячие, перегоревшие глаза женщин.

— Кем ты хочешь быть? — спросила она.

— Сам не знаю.

— Канцелярская работа тебе, по-моему, не подходит.

— Что-о?

— Я говорю, не твое, по-моему, дело подсчитывать цифры и возиться с книгами и в банке, в конторе служить,— сказала она.

Он так вознегодовал, что даже не счел нужным ответить ей.

— У меня будет свой грузовик. Как у Черного, у мистера Блэка. У него — автоприцеп.

— Что?

— Ну, полуприцеп,— сказал он.

— А-а,— сказала она уже не так уверенно.

— Один раз Черный взял меня в рейс в Мэриборо. Ездка была трудная. Иногда гнали всю ночь. Иногда спали прямо в машине. А то останавливались на ночевку там, где сдают

комнаты. До чего хорошо прокатились! Один город проедешь в ночной темноте, за ним другой.

Она все увидела. Она увидела, как люди стоят в дверях, точно оледенев в квадратах желтого света. В стремительном потоке ночи все человеческие фигуры застывают в неподвижности. Она чувствовала мохнатую темноту вокруг, когда автоприцеп брал с места и его скелет вспыхивал разноцветными огнями. А в кабине, где они сидели, все было прибрано, все на своих местах. Если скосить глаза, видно, как его белокурые волосы поблескивают, попадая под вспышки электрического света. Они везли коробки с зубными щетками, грешками и разную мелочь — блокнот, в котором она напишет стихотворение, когда они сделают где-нибудь остановку и кругом будет пахнуть муравьями. Но к тому времени его руки так мастерски овладеют рулем, что остановки, кажется, никогда и не будет. Ну и не моя забота!

— А этот мистер Блэк,— проговорила она, поджав губы,— он часто берет тебя в рейсы?

— В дальний, в другой штат, взял только раз,— сказал Ламми, отбрасывая прочь цветок банксии.— В короткие рейсы иногда берет.

Сидя в кабине, они покачивались на ходу. Он ни с кем не был ближе, чем с Черным, когда чувствовал во время толчков его ребра, и ждал возможности снова испытать этот легкий приступ благодарности и удовольствия. Ему хотелось, чтобы у него был полосатый спортивный свитер, как у Черного, и он еще заведет себе такой.

— Когда у меня будет свой автоприцеп,— сказал он,— я войду в дело вместе с Черным. Он мой лучший друг.

Она недоверчиво передернула плечами и тут же увидела темные руки с черными волосками на пальцах.

— Ну что ж,— сказала она отчужденно,— может, когда-нибудь так оно и будет.

На соседних могилах стояли коричневатые цветы в банках с темно-коричневой водой. Кое-где западный ветер повалил неустойчивые пластиковые букеты, и хотя хуже с ними ниче-

го не случилось, они валялись в поблекшем беспорядке на неприютных гранитных надгробиях.

Жара вызвала у советника Ласта зевоту. Он стал читать высеченные на плитах имена, по крайней мере те, что были на виду. Некоторые оказались полузабытыми. Раз он чуть было не засмеялся. Если бы мертвецы могли подняться и сесть у себя в могилах, у многих, наверно, нашлось бы из-за чего повздорить.

— Посреди жизни нашей нас поджидает смерть, — сказал попик.

ДЖЕК КАННИНГЕМ

возлюбленный муж Флоренс Мэри —

прочитал Хорри Ласт.

Кто бы мог подумать, что Каннингем, прямой, как шелковый дубок, упадет, поднимаясь по дорожке к домику Дэйзи Морроу. Сколько раз Хорри наблюдал, как они посиживают на веранде, прежде чем уйти в дом пить чай. Они ни от кого не таились, потому что все всё про них знали. У Каннингема были хорошие зубы. Рубашка на нем была всегда белая, хорошо отутюженная. Интересно, которая из дам стирала на него? Флоренс Мэри, говорят, была больная. Дэйзи Морроу любила посмеяться с мужчинами, но при Джеке Каннингема она больше помалкивала, суля ему такое в минуты блаженства, что Хорри Ласт мог об этом только догадываться, так как его интимная жизнь проходила почти в кромешной тьме.

Господи боже, а потом Осси! Эта женщина, наверно, была извращенка, причем такого сорта, о каком даже и не слыхивали.

— И угодно было всемогущему богу по великой милости его призвать к себе душу... — читал мистер Брикл.

Так как было неясно, кому бросать землю, это сделал бакалейщик мистер Джилл. Послышался стук о крышку гроба.

Тогда опухшие глаза Осси уже по-настоящему залились слезами. Из мрака. Из мрака Дэйзи окликнула его: Осси,

что с тобой? Ну что ты плачешь? У меня судороги, ответил он. Его корчило. Судороги? — сонным голосом переспросила она. Или тебе это только кажется? Может, не судороги, а что-нибудь другое? Может, и не судороги. Он был готов поверить ей на слово. После менингита он ведь стал не очень сообразительный. Знаешь что, сказала Дэйзи, иди ко мне в постель, Ос, я тебя мигом согрею. Он прислушивался в темноте к своему шмыганью носом. Аааа, Дэйзи, я не могу, у меня не получается, хоть ты меня озолоти, сказал он. Тогда она замолчала. Он лежал, отсчитывая биение мрака. Нет, не так, сказала она — и не рассмеялась над ним, хотя он ждал этого, — вообще, сказала она, по-настоящему так бывает только раз. Вот как надо. И он сразу разъял мрак, прильнул, прижался к ней. Он не знал, что это может быть так тихо, так ласково. Потому что Дэйзи не боялась. Она перебирала, все перебирала его волосы, точно сквозь них струилась вода. Судороги у него в ногах утихли. Под конец дыхание у них сравнялось. Задремали. И вот паренек Осси Куген снова спускался верхом с горы — позвякивание удил в голубом воздухе, запах пота из-под потника — к широкой струящейся реке. Он покачивался и струился вместе с течением мощной нескончаемой реки, погружая губы в темную, прохладную воду, и хорошо бы, стоило бы утонуть тогда.

Среди ночи Осси проснулся, испугавшись, что вдруг расстояние отделило их. Но Дэйзи все еще прижимала его к груди. Если бы он был такой, как все. Горло у Осси задержалось. Но тогда Дэйзи стала бы как все. Он уткнулся носом в теплый мрак, и она снова приняла его.

— Стоит только сильно захотеть, и тогда всего добьешься, — твердо проговорила Мег.

Она вычитала эту истину из какой-то книги и не совсем уверовала в нее, но теории бывают иногда весьма кстати.

— Стоит только захотеть, — сказала она, выбирая каблук-ом ямку в каменистом грунте.

— Ну уж не всего.

— Нет, всего, — сказала она. — Всего, чего захочешь!

Она никогда еще не смотрела на мальчишек, не смотрела в самое их нутро, а теперь впервые в жизни смотрела мальчику в глаза.

— Ерунда это,— сказал он.

— Конечно,— сказала она,— всему есть свои границы.

Он нахмурился. Он снова насторожился. Она умничает. Да еще стишки сочиняет.

Но ради того, чтобы им лучше понимать друг друга, она была готова отказаться от своих умных рассуждений. И уже ничем таким не гордилась.

— А что, если ты женишься? Будешь разъезжать на грузовике по всей стране? Думаешь, твоей жене это понравится? Торчать одной дома с кучей ребятишек.

— Некоторые ездят с женами. Черный берет с собой и свою хозяйку, и ребят. Конечно, не всегда. Но кое-когда все-таки берет. В короткие рейсы.

— Ты не говорил мне, что мистер Блэк женат.

— Всего не расскажешь. Во всяком случае, за один раз.

Женщины, которые сидели в кабинах автоприцепов, представлялись ему большей частью тоненькими и черненькими. Они редко отвечали на твои взгляды, а вытирали руки бумажными салфетками и смотрелись в маленькие зеркала, поджидая своих мужчин. Поджидать им приходилось часто. Вот он идет от станции обслуживания к машине, к своему законному месту. Идет не спеша, чуть нахмурившись, потрагивая светлую поросль у себя на подбородке, не достаивая женщину взглядом. Разве только искоса. А она — самая тоненькая, самая черненькая, самая независимая из всех, кто сидел в кабинах автоприцепов, выглядывая в окно.

Тем временем они прохаживались среди ржавых банок сарсапариллской свалки. Он сломал несколько веток и бросил обломки в траву. Она сорвала узкий листок и понюхала его. Ей очень хотелось понюхать волосы Ламми.

Но пришлось сказать только:

— Какой ты белокурый.

— Некоторые такими рождаются,— признал он.

И стал обстреливать камень мелкими камешками. Она

видела, что он сильный. От всех этих открытий, сделанных за такое короткое время, у нее задрожали колени.

Они с ревом мчались сквозь блистающий свет, кренясь на поворотах, кабину мало-помалу наполняют белолицые, белоголовые ребяташки, и младшего она бережет от тряски, поддерживая ладонью сзади за шею, как — сама видела — делают женщины. Озабоченная этим, она иногда забывала про Лама, а он останавливал машину, и она вылезала из кабины прополоскать пеленки в тепловатой воде и развесить их на просушку по кустам.

— Стишки сочиняешь и вообще,— сказал он.— Я таких умных в первый раз вижу.

— Умные, они такие же, как все,— жалобно проговорила она, боясь, что он не смирится с ее особенностями и с ее силой.

Теперь ей надо вести себя ужасно осторожно. Пусть не годами, но она старше Лама, только нельзя, чтобы он догадался об этом — это ее тайна. Несмотря на всю его силу, на всю его красоту, она и сейчас и всегда должна быть сильнее.

— Что это у тебя? — спросил он и тронул ее.

Но тут же испуганно отдернул руку.

— Шрам,— сказала она.— Я открывала банку сгущенного молока и порезала себе кисть.

И впервые обрадовалась бледному рубчику на своей веснушчатой коже, надеясь, что это заполнит брешь, образовавшуюся между ними.

А он не сводил с нее своих строгих голубых материнских глаз. Она нравилась ему. Хотя и уродина, и умничает, и девчонка.

— Сгущенное молоко, да на хлеб,— сказал он.— Это можно есть и есть, пока не лопнешь.

— Да-а! — согласилась она.

И поверила в это всей душой, хотя такая мысль никогда раньше не приходила ей в голову.

На спинах парадной одежды иссиня-черным неровным узором роились мухи. Им всем уже надоело отгонять их,

поддерживая плечами. По мере того как Альф Герберт, покрывивая, сбрасывал в могилу тяжелые лопаты земли, пыль в воздухе все сгущалась, обещания накладывались одно на другое. Хотя они только и слышали, что ждите и ждите, Христос придет и искупит грехи людские,— им показалось бы несуразным, если б он вдруг возник из зарослей кустарника и на алтарях из раскаленного песчаника совершил бы жертвоприношение, к которому никто их не подготовил. Тем не менее, стоя у могилы, они ждали, обученные покорно принимать все, что им навязывали, а жара притупляла в них остатки разума и вспучивала их австралийские пальцы до размера немецких сосисок.

Первая не выдержала Миртл Хогбен. Она разрыдалась, уткнувшись не в тот платок. Кто преобразит униженную плоть нашу? Таких слов ее чувство приличия не могло перенести.

— Спокойнее,— шепнул ей муж, поддерживая ее пальцем под локоть. Она покорилась мужнинуму сочувствию, как покорялась в их совместной жизни его более сомнительным желанием. Ничего ей не требовалось, кроме мира и покоя и кое-каких сбережений на карманные расходы.

Женщина хлипкая, миссис Хогбен оплакивала сейчас все те обиды, которые ей пришлось перенести в жизни. Ведь Дэйзи приносила одно унижение. Но было и понимание, да, были такие минуты. Ведь только девушки и понимают друг друга, девушки, но не женщины. Сестры, сестры! До того как жизнь раскидает их в разные стороны. И вот Миртл Морроу снова шла по саду, а Дэйзи Морроу обнимала сестру за плечи; воздух наполняли признания и запах бродящих давленных яблок. Миртл сказала: знаешь, Дэйзи, что мне хочется сделать? Мне хочется заткнуть лимоном трубу, на которой играют в Армии спасения. Дэйзи захихикала. Ты совсем спятила, Мирт, сказала она. Спятила, но никого не подвергла унижению. И Миртл Хогбен стояла и плакала. Один раз, один-единственный раз ей захотелось столкнуть кого-то вниз с обрыва и посмотреть, какая у него тогда будет физиономия. Но Миртл никому в этом не призналась.

И миссис Хогбен оплакивала то, в чем она никому не могла признаться, все то, с чем она не могла совладать в себе.

По мере того как потекли более милостивые слова молитвы Отче наш, которую она знала наизусть, хлеб наш насущный, ей следовало бы утешиться. Да, следовало. Следовало бы.

Но все-таки где же Мег?

Миссис Хогбен отделилась от остальных. Походка у нее была деревянная. Если кто-нибудь из мужчин заметит ее уход, подумают, что она слишком уж расчувствовалась или что ей понадобилось облегчиться.

А облегчить себя ей хотелось бы призывом: Маргарет, Мег, ты что, не слышишь меня, Me-eg! — и протянуть это сердитым, визгливым голосом. Но священника не перекричишь. И она продолжала вышагивать. Похожая на цесарку, зацепившуюся своим пестрым шелковистым оперением за колючую проволоку.

Сделав еще несколько шагов, похोдив туда-сюда и немного дальше, они услышали голоса.

— Кто это? — спросила Мег.

— Мои папаша с мамашей, — сказал Ламми. — Ругаются из-за чего-то.

Мамаша Уэлли только что нашла две неоткупоренные бутылки пива. И где — на свалке! Скажите пожалуйста! Что-то подозрительно!

— Может, они с отравой, — предостерег ее муж.

— С отравой? Иди ты знаешь куда! — крикнула она. — Это только потому, что я нашла!

— Кто бы ни нашел, — сказал он. — Кому захочется пить горячее пиво?

— Мне захочется, — сказала она.

— С собой ведь мы привезли ледяное!

Он тоже начал покрикивать. Ее иной раз заносило.

— А кто хотел припрятать то, что мы привезли? Пока оно горячим-прегорячим не станет? — крикнула она во весь голос.

Оба Уэлли, и муж и жена, обливались потом.

И вдруг Ламми понял, что девушку надо увести подальше отсюда. Хватит с него этих пьянчуг. Хорошо бы гулять со своей девушкой по лужайке, где трава скошена, вот как в Ботаническом саду, чтобы зеленый дерн пружинил под их неторопливыми ногами. Статуи указывали им путь сквозь слепящий свет, туда, где они наконец сели под огромными глянцевитыми листьями и стали глядеть на лодки, скользящие по воде. Достали бутерброды, завернутые в несколько слоев чистой папиросной бумаги.

— Грызутся как собаки,— пояснил Ламми.

— Не моя забота,— заверила его Мег Хогбен.

Сейчас все на свете было для нее: не моя забота — не моя, а может, моя?

Ничего не соображая, она шла вслед за ним мимо ржавой печурки, через весь смертоносный ковер свалки. То бегом, то скользя, чтобы не отстать. Цветы все равно увяли бы у нее в руках, даже если бы она не хваталась за них, стараясь сохранить равновесие. Где-то в этом лабиринте, открывшемся только им, она потеряла свою шляпу.

Когда они отошли подальше от злобной стычки и знойное затишье снова спустилось на них, он взял ее за мизинец, ведь это было вполне естественно после всего, что им пришлось пережить вместе. Несколько минут они шли, взявшись за руки и размахивая ими, согласно раз и навсегда установленному закону движения.

А потом Лем Уэлли нахмурился и отбросил руку девушки.

Если она мирится с его поведением, значит, ей уже не важны его поступки, а важно только то, что он чувствует. В этом, наверно, вся и беда. Она все знает! Нет! Ей надо противиться до самой последней минуты. Держаться, цепляясь за воздух, как вот эта птица, чирикающая на ветках колючего дерева, под которым они остановились. И тут его пальцы взяли на себя всю власть. Юношеское тело поразило ее своей жестокостью. Дрожь, пробегающая по ее шероховатой коже, полотно белесого неба ужаснули его. До того как испуг и ожидание чего-то не растопили им губы. И они

с благодарностью по глоточку стали пить друг друга. Запрокидывая назад голову между глоточками. Точно птицы, тянущие воду.

Осси уже перестал видеть лопату Альфа Герберта, сбрасывающего землю в могилу.

— Вот не знал, что мужчина может плакать на похоронах,— пробормотал советник Хогбен, хотя он был готов лопнуть со смеху.

— Если считать Осси мужчиной,— похмыкав, выразил свое мнение советник Ласт.

Но Осси ничего не слышал и не видел, одну только Дэйзи, все еще лежавшую на вздыбленной постели. У нее, наверно, оторвалась пуговица, потому что груди стояли торчком. Ему никогда не забыть, как они мучительно боролись тогда при тяжело-желтом утреннем свете. Ранним утром тело стало желтым, вялым. Что будет со мной, Дэйзи? Все решится, Ос, сказала она, как решается за всех за нас. Мне надо бы знать, что тебе ответить. Но дай я немного передохну, отдышусь. Тогда он стал на свои больные колени. Он прижался губами к шее Дэйзи. У ее кожи был странный привкус горечи. Широкая, сверкающая река, к которой с позвякиванием удил спускался с горы паренек Осси Куген, замедляла течение, превращаясь в густую, желтую тину. И вот он, немощный, шелудивый старик, пытается освежить лоб в последней ее лужице.

Мистер Брикл сказал:

— Вознесем тебе великую благодарность за то, что соизволил ты избавить сестру нашу от пагубы этого грешного мира.

— Нет! Нет! — вырвалось у Осси, но ему так сдавило горло, что, несмотря на всю его горячность, его не услышали.

Насколько он понимал, никто не хотел избавиться от этого мира. Во всяком случае ни он, ни Дэйзи. Когда зимними вечерами можно сидеть вдвоем у огня и печь картошку в золе.

Миссис Хогбен не сразу отцепила свой крепдешин от

проводами. Это все нервы, не говоря уже о том, что Мег не выходит у нее из головы. Пришлось рвануть платье поильнее, и, подняв голову, она увидела, что ее чадо вон там, на куче мусора, без малейшего стыда целуется с этим мальчишкой, сыном Уэлли. Что, если Мег станет второй Дэйзи? Отрицать не станешь, это у нее в крови.

Миссис Хогбен не то чтобы закричала, а издала некий звук своим раздувшимся горлом. Язык заполнил ей рот, так что словам в нем не осталось места.

Тут Мег взглянула на нее. Она улыбалась.

Она сказала:

— Да, мама?

Она подошла к колючей проволоке и пролезла сквозь нее, тоже чуть порвав себе платье.

Миссис Хогбен заговорила, и зубы у нее лязгнули:

— Нашла время! Твою тетку только что опустили в могилу. Впрочем, если кого упрекать, так именно ее.

Обвинения быстро следовали одно за другим. Отвечать на них Мег было нечем. Радость обезоружила ее, и с этой минуты она забыла, как надо защищаться.

— Будь ты помладше...— миссис Хогбен понизила голос, потому что они уже подходили к священнику,— я бы о тебя палку обломала, милочка.

Мег попыталась закрыть лицо, только бы не увидели, что у нее делается внутри.

— Что люди скажут? — простонала миссис Хогбен.— Что нас ждет впереди?

— Что, мама? — спросила Мег.

— На это ты одна можешь ответить. И еще кое-кто.

Тогда Мег посмотрела через плечо и увидела, что ненависть, о существовании которой она на некоторое время забыла, все-таки жива. И лицо ее сразу замкнулось, сжалось в тугую кулачок. Она готова была защищать все, что по справедливости нуждалось в ее защите.

Если бы даже ярость, горе, презрение, скука, безразличие и обида на несправедливость не занимали умы провожаю-

щих покойницу, вряд ли они почувствовали бы, что она стоит среди них. Восставшие из гроба — такое бывало (а может, и не бывало) в Библии. Фанфары света не вспыхнули в честь какой-то безнравственной женщины в ситцевом платье цветочками. У тех, кто знал эту женщину, она осталась только в отрывочных воспоминаниях, в какой-нибудь застывшей прижизненной позе. Могли ли они услышать ее призыв, да и услышав, стали бы разве внимать ему? И все же Дэйзи Морроу продолжала вещать:

— Слушайте меня, слушайте все! Я не ухожу от вас, я оставляю только тех, кто хочет, чтобы их оставили, хотя и они все равно боятся — не потерять бы им частицу самих себя. Слушайте меня, преуспевающие безнадежники, вы, кто не спит по ночам, трясаясь от страха, как бы не прозевать чего-нибудь, или ужасаясь при мысли, что и обретаешь-то им нечего. Придите ко мне вы, неудовлетворенные женщины, общественные деятели, встревоженные дети и шелудивые отчаявшиеся старики...

Слова всегда казались слишком большими для такой маленькой женщины. Теряя терпение, она откидывала назад волосы. И находила выход своей досаде в действиях. Так как ноги ее коренились в земле, ей бы и в голову не пришло противиться сейчас столь тяжкому грузу, и голос ее, всегда хриловатый, продолжал проповедовать, слог за слогом глотая прах:

— Истинно говорю вам, не будем терпеть муки, если не построим у себя в сердцах каморок, где бы хранились орудия ненависти. Неужто вы не знаете, мои дорогие, что смерть не есть смерть, если она не убивает любовь. Любовь же пусть будет самым мощным взрывом, который нам дано испытать. Она вздымает нас в вихре, кружит, сотворяя миллионы других миров. И никогда не разрушает.

Из-под свежего холмика, который был бездарно сложен в форме ее земного тела, она продолжала взывать к ним:

— Я принесу вам утешение, если вы позволите.

Но никто ее не понял, потому что они были всего лишь люди.

— Во веки веков. Во веки веков.

Листья всколыхнулись, потревоженные первым намеком на ветерок.

И вот мечтания Дэйзи Морроу положили возле ее узеньких запястий, упругих бедер и изящных лодыжек. Она покорилась наконец телесному распаду, который, как надеялись, сделает из нее порядочную женщину.

Она умерла, но не до конца.

Мег Хогбен так и не смогла истолковать заветов своей тетки, и она не увидела последних минут ее погребения, потому что солнце било ей в глаза. Но вместе с радостной дрожью воспоминания она снова почувствовала, как пушок коснулся ее щеки, как легкий ветер щекотнул влажные корни ее волос, и, садясь в машину, стала гадать, чего ей ждать впереди.

Ну вот, Дэйзи свалили в могилу.

Где-то по другую сторону колючей проволоки слышались спорящие голоса и звон разбитого стекла.

Советник Хогбен подошел к священнику и сказал ему все, что полагается говорить в таких случаях. Потом, став к нему боком, вынул из бумажника несколько купюр и тут же почувствовал себя свободным. Если бы Хорри Ласт был еще здесь, Лес Хогбен догнал бы своего приятеля и обнял бы его за плечи, чтобы выяснить, простилось ли ему неподобающее поведение некоего субъекта — не родственника, нет, нет, однако... Как бы там ни было, но Хорри уже уехал.

Хорри ехал, вернее, летел по низине, где свалка примыкала к кладбищу. Впереди в пыльной спирали показалась на секунду спина Осси Кугена.

Подвезти, что ли, этого идиотика, засомневался советник Ласт и, не останавливая машины, подумал: заслуживают ли наши добрые намерения хотя бы пол-очка, если они остаются невыполненными? Потому что сейчас было уже поздно останавливаться, а в зеркале Осси сворачивал с дороги к свалке, где, собственно говоря, этому подонку и место.

Вдоль всей дороги камешки, пыль и листья оседали на

места, привычные для них в невзвяхренном состоянии. Бакалейщик Джилл, человек медлительный, как правило державший мелочь в затасканном холщовом мешочке, смотрел на шоссе сквозь толстые стекла очков, восседая в своем высоком «шевроле». Он с облегчением убедился, что успеет вернуться домой к половине четвертого, почти минута в минуту, и тогда жена нальет ему чашку чая. Во всех своих делах бакалейщик был пунктуален, порядочен, обстоятелен.

Ведя машину с умеренной скоростью, он объехал матрас, выброшенный свалкой из-под колючей проволоки на середине шоссе. Странные вещи происходили иногда на этой свалке, вспомнил бакалейщик. Истошно кричали девушки, узкие длинные брюки которых были разорваны в клочья. Рука, отрезанная по самое плечо, в мешке из-под сахара, а тела к ней будто и не было. И все же кое-кто находил мир и покой среди здешних отбросов: пожилые бездомные мужчины, белесые, мертвые рыбы глаза которых ничего не рассказывали об их прежней жизни; женщины с голубоватой кожей потребителей метилового спирта вечно торчали у дверей лагун, сбитых из древесной коры и ржавого железа. Однажды какой-то доходяга залег в куче мусора, по-видимому решив сгнить там, да так и сгнил, задолго до прихода констебля, за которым послали для обследования того, что казалось на первый взгляд ворохом вонючего тряпья.

Мистер Джилл осторожно прибавил скорость.

Они катили по шоссе. Катили по шоссе. Лам Уэлли сидел в кузове пикапа один, на пустой клети, наклонившись вперед, зажав руки между колен, забыв, что это поза Черного. Сейчас он ни от кого не зависел. Лицо у него осунулось на ветру. Это ему нравилось. Было приятно. Он уже не злился на весь тот хлам, который они волокли домой: на ржавчину, чешуйками осыпавшуюся у его ног, на рулон покрытого плесенью войлока, норотившего забить ему ноздри мохнатой пылью. И даже на свое семейство в кабине у него за спиной, затеявшее то ли ссору, то ли спор — поди разбери.

На самом же деле они пели песню. Один из своих соб-

ственных ее вариантов. Они всегда пели на свои собственные слова, и двое младших подтягивали им:

*Покажи мне дорогу домой.
Хоть устал я, но лягу с тобой.
Кружку пива я налил себе,
И родилась мыслишка в уме.*

И вдруг мамаша Уэлли принялась лупить Гэри — или это был Бэрри?

— Ты-то что смыслишь? Тоже мне!

— Какая тебя муха укусила? — крикнул ее муж. — Глоточка не выпьешь, чтобы не взбеситься!

Она промолчала. Он понял, что сейчас начнется. Малыш заревел, но больше так — для порядка.

— Это все Ламми, чтоб ему пусто было, — заканючила миссис Уэлли.

— Чего ты на него взъелась?

— Отдаешь мальчишке столько всего — и любви и заботы, а ему хоть бы что.

Уолт крикнул. Рассуждения на отвлеченные темы всегда ставили его в тупик.

Мамаша Уэлли плюнула из окна, но плевок вернулся к ней обратно.

— Ч-черт! — вскипела она.

И примолкла. Дело тут не в Ламми, если уж по-честному. А в чем, в ком? Да во всем. Спиртное! Зарекалась: больше в рот не возьму. А брала. И этот Ламми, чтоб ему пусто было, и кесарево, и все прочее, мужчину больше до себя не допущу.

— Мужчинам этого не понять.

— Чего? — спросил Уолт.

— Когда кесарево.

— Э?

О чем с мужчиной говорить? Не о чем. Вот и ложишься с ним в постель. Большею частью навеселе. Так и на близнецов нарвалась, а ведь говорила — больше никогда в жизни.

— Перестань ты реветь, ради бога! — стала она увещевать малыша, приглаживая его взъерошенные ветром волосы.

Все на свете тоска зеленая.

— Любопытно, часто тут хоронят заживо? — сказала она.

Лихо беря повороты в своем кремовом «холдене», советник Хогбен чувствовал себя эдаким молодцом, но сдерживал свою удаль в последний момент, чтобы машину не заносило по ту сторону закона.

Они катили и катили по шоссе, машина приятно рвалась вперед, а углы огибала полукруглыми заворотами.

В тех случаях жизни, когда Мег Хогбен заставляла себя молиться, ища ответа на вопрос, что с ней происходит, у нее ничего не получалось, но она снова и снова, стиснув зубы, продолжала свои попытки. Сейчас ей так хотелось с любовью думать о своей тетке, но облик покойницы расплывался у нее перед глазами. Она человек несерьезный, в этом все дело. Но при каждой очередной неудаче пейзаж ласково заслонял собой все другие ее мысли. Они проезжали под телефонными проводами. Ей ничего не стоило бы перевести любой разговор на язык мира и тишины. Ветер, то обжигающий, то холодный; оставлял все неподвижное в покое: деревянные дома прочно стояли вдоль шоссе, стволы ветел высились у бурого блюда плотины. Открытый взгляд ее серых глаз стал глубже, словно готовясь вобрать в себя все, что ей еще предстояло увидеть, почувствовать.

Как уютно было сидеть, подобрав под себя ноги, на заднем сиденье, когда папа и мама едут спереди.

— Я не забыла, Маргарет, — бросила ей мама через плечо.

К счастью, папу это не заинтересовало, и он ничего не спросил.

— У Дэйзи не осталось задолженности по дому? — осведомилась миссис Хогбен. — Ведь она была такая непрактичная.

Советник Хогбен прочистил горло.

— Выясним, на это нужно время, — сказал он.

Миссис Хогбен уважала мужа за то, что было, признаться, выше ее понимания: например, таинственно Время, Дела и совсем уж непостижимое — Главный Эксперт.

— Не понимаю,— сказала она,— как это Джек Каннингем сошелся с Дэйзи. Такой видный мужчина. Хотя Дэйзи вообще-то нравилась.

Они катили по шоссе. Катили по шоссе.

Тогда миссис Хогбен вспомнила про золотое колечко.

— Как по-твоему, эти, из похоронного бюро, честные?

— Честные ли? — переспросил ее муж.

На такой вопрос трудно ответить.

— Да,— сказала она.— То кольцо, которое Дэйзи...

Обвинять рискованно. Когда она наберется храбрости, то пойдет в заколоченный дом. От одной этой мысли у нее сдавило грудь. Она войдет в комнаты и пошарит в дальних уголках комода, вдруг там комочек папиросной бумаги. Но заколоченные дома умерших пугали миссис Хогбен, в этом нельзя не признаться. Спертый воздух, свет, пробивающийся сквозь шторы сурового полотна. Точно воровать пришла, хотя этого и в уме не было.

А тут еще эти Уэлли догнали их.

Они катили и катили по шоссе, пикап и «холден», почти впритирку друг к другу.

— У кого никогда не бывает мигрени,— воскликнула миссис Хогбен, отворачиваясь от пикапа,— тот даже не представляет себе, что это такое.

Ее муж слышал это не в первый раз.

— Странно, что мигрени тебя все еще мучают,— сказал он.— Говорят, в известном возрасте это проходит.

Хотя они не намерены обгонять машину Уэлли, он сделает все, чтобы избавиться от такого соседства. Уолт Уэлли сидел за рулем согнувшись, но не настолько, чтобы не было видно волос, выбивающихся из-под расстегнутой на груди рубашки. Жена хлопывала его по плечу. Они пели песню на свои собственные слова. А десны у нее слюнявые.

И они катили и катили по шоссе.

— Меня сейчас стошнит, Лесли.— Миссис Хогбен проглотила слюну и полезла в сумочку за непарадным носовым платком.

Близнецы хохотали сквозь свои светлые лохмы.

Сидя в кузове грузовика, этот хмурый Лам смотрел в другую сторону. Мег Хогбен вперила взгляд куда-то далеко-далеко. Если промелькнула между ними хоть тень взаимного узнавания, ветер сразу сдул ее с их лиц. Мег и Ламми сидели каждый на своем месте, обняв свои острые, но такие уютные колени. Подбородки у них были опущены низко — ниже некуда. И глаза тоже смотрели вниз, точно они довольно всего нагляделись за один день и оба лелеяли то, что узнали.

Теплая сердцевинка обретенной уверенности друг в друге успокаивалась и затихала по мере того, как все увеличивающаяся скорость заставляла ветер перебирать телефонные провода, бегущие мимо изгороди, и приминала головки серой травы, но они поднимались, все поднимались и поднимались.

Стакан чая

Только оказавшись в Женеве второй раз, Маллиакас решил воспользоваться рекомендательным письмом. Он приехал по делам недвижимости, принадлежавшей его тетке, богатой александрийке, которая после смерти мужа переехала в Лозанну, где и провела остаток своих дней. Во время первой поездки Маллиакас был уверен, что встреча с Филиппидесом не сулит ему ничего интересного, и даже сейчас, слыша, как письмо с шелестом упало на дно почтового ящика, не мог понять, с какой это стати он вдруг решил воспользоваться письмом, которое Эллисон — пожилой англичанин, знавший Филиппидеса еще по Леванту, — чуть не силой всучил ему. Прошло несколько дней, и у Маллиакаса уже зародилась надежда, что его опрометчивый поступок останется без последствий, но тут как раз от Филиппидеса пришел ответ: четким, каллиграфическим почерком он писал, что готов принять знакомого своего друга. Это была короткая сухая записка, но за ней стояла неизбежность. Маллиакас содрогнулся при мысли об этом и все же за день до отъезда отправился в Колоньи.

Кто знает, что в конце концов заставило его поехать: то ли меланхолия, то ли дремотная пышность швейцарской природы, то ли пестрые толпы местных женщин. Холостяк сорока с небольшим лет, Маллиакас обычно действовал под влиянием настроения и своей печени. Он не был достаточно богат — ни материально, ни духовно, — чтобы совершить нечто из ряда вон выходящее, вместе с тем он был слишком богат, чтобы произвести на свет шедевр, которого от него когда-то ждали. Но он продолжал попытки. И часто, полон решимости оправдать чьи-то надежды, брался за перо и терзал бумагу. У него получались лишь незаконченные фрагменты, что, впрочем, не мешало Маллиакасу получать от них удовольствие. Но больше всего он любил сидеть поутру на балконе лучшего отеля, который только мог себе позволить, за чашкой кофе и перебирать komboloi*, доставшиеся ему в наследство от одного родственника. Маленькое удовольствие все равно удовольствие, и в такие минуты он садился поудобнее и поглядывал из-под темных век на площадь, где под платанами мелькали то чья-то прядь волос, то чей-то задик. Маллиакас иногда вздыхал при этом, потому что, хотя у него было много любовниц и все они были хороши по-своему, ни одна не воплощала собой тот образ неувядаемого очарования, который все еще жил в его воображении.

Воображение — превыше всего он ценил в себе эту способность, но не умел раскрыть ее в полной мере, и друзья лишь смутно догадывались о ней. По дороге в Колоньи на встречу с Филиппидесом Маллиакас играл этим своим тайным сокровищем. Трясаясь в автобусе среди пышущих здоровьем пассажиров, он с сожалением заметил, что каждый швейцарец, похоже, достиг душевного равновесия, тогда как он — грек — мог противопоставить этому лишь свою скрытую от посторонних глаз духовную жизнь и некоторую мягкую утонченность. Досада отозвалась горечью во рту, когда он, коснувшись рукой подбородка, обнаружил, что забыл побриться. Должно быть, подбородок у него совсем черный.

* четки (греч.).

К тому времени как его высадили на нужной улице, Маллиакас был уже *на пределе*, как когда-то говорила его английская гувернантка. Вспомнив, что Эллисон называл Филиппидеса не только *крепким восьмидесятилетним стариком*, но и *благородным старым джентльменом*, он вновь поддался тяжким сомнениям и замедлил шаг. Утром прошел дождь, и лужи на дороге еще не высохли. Над зелеными верхушками деревьев по-летнему кучно висели облака. Маллиакас чихнул. Пути назад не было. Его итальянские туфли забрызгались грязью, пока он шел к дому, где жил Филиппидес — все еще, как видно, в достатке, хотя Эллисон и говорил, что дела старика пошатнулись.

Подъезд этого большого, но скромного на вид дома был выдержан в разумных пропорциях швейцарской архитектуры; в дверях появилась типично швейцарская горничная и сообщила гостю, что мадам Филиппидес позвали к больному. Но можно повидать господина: он в маленькой беседке в конце аллеи. И она тут же повела его по гравиевой дорожке, приветливо болтая о погоде. Маллиакас с довольно угрюмым видом изучал фигуру девушки со спины.

Подойдя к беседке, горничная заговорила громче.

— К вам джентльмен из Греции, которого вы ждали, господин Филиппидес, — почти прокричала она.

В решетчатой беседке из тонких белых дощечек, отодравшихся в нескольких местах, сидел высохший, но очень бодрый старичок.

— Да, — сказал он по-английски, тихим, но уверенным голосом, как говорят глухие, — мы получили вашу записку. А еще, несколько лет назад, письмо от Тилотсона: он предупредил, что вы можете приехать. Эллисон — он вам непременно расскажет — был моим другом во время событий в Смирне*, даже еще раньше, в Коньи. Я несколько лет прожил в Коньи. Меня послал туда кузен, совершенно запутав дела коврово-ткацкого концерна. За три года я увеличил число станков с тридцати трех до трехсот двадцати.

* Город на Ионическом побережье Малой Азии, считавшийся по одной из версий родиной Гомера.

От столь приятных воспоминаний мистер Филиппидес рассмеялся, а гость растерялся, не зная, что делать.

— Чаю хотите? — спросил Филиппидес.

Маллиакас не любил этот напиток, но принял предложение, чтобы чем-то заняться.

— Женевьева, чайник! Тилотсон, бывало, выпивал целый чайник. Да, целый чайник. Когда-то...

Девушка уже спустилась по ступенькам.

— Ах, но вы же не англичанин, — вспомнил Филиппидес и тотчас перешел на греческий.

Он выглядел необычайно бодрым, сидя за садовым столиком: на голове спортивная шапочка, на плечи накинут плед, а сизые костлявые пальцы, словно птичьи лапки, высывались из коричневых вязаных митенок. Перед ним на оловянном подносики для писем стоял стакан с остатками чая.

— Жена огорчится, что не застала вас, — Филиппидес помешал чай, и ложечка звякнула о стакан. — Ее позвали к какой-то даме — забыл, к кому именно, — которая угасает, — сказал он, — угасает.

Ничем, видимо, не нарушая ход мысли хозяина, Маллиакас сел. Железные прутья кресла сжали ему бока. В беседе пахло плесенью.

— За ней всегда присылают, — объяснил Филиппидес и неожиданно переменял тему. — Ну а вы, — сказал он обвиняющим тоном, — должны иметь способности к языкам. Как все александрийцы. Мою жену учили языкам. Собрали всех гувернанток Леванта, чтобы дать ей образование. И ее сестрам тоже. В Смирне почти все знали об их успехах. Констанция — верите ли? — научилась выстрелом гасить пламя свечи, стреляя в нее через двор. Из пистолета слоновой кости, что подарил ей дядя.

Маллиакас не выразил своего восхищения таким талантом, но лишь потому, что почувствовал в хозяине достойного уважения рассказчика.

— Летними вечерами, среди гранатовых деревьев, все эти девушки в расшитых платьях ждали, когда их выберут.

Мистер Филиппидес отпил глоток чая и со вкусом поже-

вал свои щегольские усы. Поднявшийся ветерок всколыхнул сырые заросли сада. Маллиакас услышал приближающийся шелест юбок и беспокойно оглянулся, думая, что предстоит знакомство с хозяйкой. Но это была горничная: она поставила на стол чайник и ушла.

— Чай! — вздохнул Филиппидес. — Одно из немногих оставшихся удовольствий. Знаете, все умирают...

Заметив, что хозяин погрузился в себя, и стараясь не мешать ему, гость начал сам наливать чай. Неумело раскалывая сахар, он вдруг увидел, какие у него толстые волосатые пальцы. Из-за девушек в расшитых платьях они стали неуклюжими.

— Дайте срок, и я расскажу вам о моей жене, — доверительно сказал Филиппидес. — Констанция. Страстная, трудная женщина. Но стоит всех страданий, которые были из-за нее пережиты.

Он надтреснуто засмеялся.

— Никто не умел так ненавидеть, как она. Вы бы знали, как она ненавидела их! — воскликнул он, постукивая пальцем по стакану.

— Да? — промычал Маллиакас.

Попивая чай из голубоватой чашки, он будто во сне с радостью поддавался чарам рассказчика, слушал, вдыхая аромат прошлого и всепроникающий запах плесени.

— Да. У вас просто чашка, — заметил Филиппидес. — Потому что это последний оставшийся стакан. Из тех двенадцати, что я купил у русского перед его отъездом из Коньи. А жена взяла с собой на эсминец, в картонной коробке. Я все расскажу, дайте только срок.

— Я весь внимание, — воскликнул Маллиакас, вдруг искренне захотев услышать эту историю до конца.

Он ведь уже понимал, как важно, чтобы все фрагменты воспоминаний заняли свое место в цепи событий, гораздо важнее, чем дожидаться возвращения миссис Филиппидес.

— Эх, не всегда нам дается срок. Даже при большом желании, — сказал Филиппидес. — Однажды к нам пришла цыганка. Я уже говорил вам? Это было на Хиосе. После

нашего бегства. Цыганка обещала погадать мне, и Констанция пришла в бешенство от того, что не ей пообещали

Старик громко рассмеялся.

— И она погадала? — спросил Маллиакас хрипловатым голосом; почему-то, если приходится долго слушать, голос всегда садится.

— Не сразу. Цыганка сказала: «Сначала вырви волос со своей груди, я возьму его и пойду танцевать нагишом среди скал Айя Мони».

Маллиакас прислушался к собственному дыханию.

— И вы вырвали?

— Тоже не сразу, — ответил Филиппидес. — Это было не просто сделать. Потому что, как видите, кожа у меня довольно гладкая.

Сквозь толщу шерстяных вещей он стал почесывать свою старческую грудь. И улыбался, вспоминая прошлое.

— А что же сказала цыганка?

— Она сказала... Я как раз пил чай из такого вот стакана, и она сказала: «Ты будешь жить, пока не разобьется последний из этих двенадцати стаканов».

— Вот видите, — Маллиакасу хотелось порадовать этого милого старого ребенка, — вы и прожили! Как предсказала цыганка.

— Не знаю, — задумчиво произнес Филиппидес, — наверно, каждый умирает в свое время. — Но тут же добавил более жизнерадостным тоном: — Констанция очень рассердилась, услышав предсказание. Заявила, что все это чушь, что цыганка наверняка узнала про русские стаканы от кирии* Ассиminy, которая была глупа и не в меру болтлива да к тому же разбила две ее самых дорогих тарелки. Не знаю, права ли была Констанция, но у кирии Ассиminy действительно все билось. Кажется, она успела разбить четыре стакана, пока мы от нее не избавились.

Маллиакас зачарованно смотрел на уцелевший стакан. Вечерело. На сланцевом небе самолет начал вычерчивать

* Кирия — в греческом языке обращение к женщине, так же как в английском «мисс» или «миссис».

что-то похожее на кодированные сигналы.

— Помнится, в ту ночь, когда кирия Ассимины разбила севрские тарелки, надвигалась гроза. Хлопали ставни. Констанция нездоровилось. И тут-то она взорвалась. Правда, она всегда была вспыльчива, это уж точно! Она заявила, что уедет в Афины. Навсегда. И уехала. А когда вернулась — я-то знал, что вернется, — привезла с собой девушку. Молодую крестьянку с Лемноса. Аглая тоже разбила один стакан, только это случилось позже.

— При стольких покушениях на вашу жизнь, — не удержался Маллиакас, — вам просто повезло.

Филиппидесу шутка понравилась.

— О, я вам все расскажу, — пообещал он, — наберитесь только терпения. Удивительно, что Констанция не убила меня. Из-за любви.

Образ Констанции так сильно завладел Маллиакасом, что он написал ее историю — он предчувствовал, что так будет, — даже закончил ее и остался почти доволен собой. Но это было потом, а пока его роман только начинался: он сидел в беседке в Колоньи, чуть подавшись вперед в металлическом кресле, и слушал то, что должен был услышать, со страхом ожидая возвращения миссис Филиппидес.

Поначалу семья, жившая на Фрэнкиш-стрит, не хотела отдавать любимую дочь за молодого человека весьма скромного происхождения и не имеющего твердых доходов. Констанция тоже сомневалась, подойдет ли ей поклонник на голову ниже ее ростом. Она поглядывала на него сверху вниз из-под опущенных ресниц, обрывая лепестки гранатового цветка. Обычно она целое утро переписывала отрывки из Данте или Гёте к себе в тетрадь в кожаном переплете или рисовала акварелью пейзажи, английские пейзажи, которых никогда не видела. Но все время прислушивалась, не раздастся ли твердый шаг маленького жилистого человека — ее нежеланного поклонника. Сестры выглядывали из окон, чтобы предупредить ее о его появлении. А она злилась на них за это.

Все еще глядя сверху вниз — у нее была идеальная линия носа, — она спросила:

— Вы не находите, что мы выглядим нелепо из-за разницы в росте?

— Я никогда над этим не задумывался, — ответил он.

— Только, пожалуйста, не прикасайтесь ко мне. Я ненавижу, — призналась она, — когда ко мне прикасается кто-нибудь, кто так мало для меня значит. Даже сестры — а я их очень люблю — уважают мои чувства.

Ее голос дрожал.

— Однако вас нельзя назвать равнодушной.

Она вспыхнула — или это вспыхнуло отражение гранатового цветка на ее щеке?

— Ах, оставьте меня! Откуда вам знать, какая я? Я сама не знаю! — Ей казалось, что она кричит.

Он все же прикоснулся к ней. У него были маленькие настойчивые руки.

Свадьбу сыграли в доме на Фрэнкиш-стрит; и не успели еще гости вдоволь насладиться изяществом *bonbonnières**, как жениха срочно вызвал в Конью кузен.

Констанция писала: «Что ты там делаешь, Янко, среди всех этих турок? И русских, о которых ты писал? Мне не нравятся мужские вечеринки. Что-то в них есть странное и непонятное».

В другом письме она писала: «Неужели ты не пришлешь за мной? Грязь, мухи, турки, скука — мне все равно! Да мне и не будет скучно. Я устрою нашу жизнь. Привезу лучший из пяти чайных сервизов, что нам подарили на свадьбу. Только пришли за мной! Я уже присмотрела ткань на занавески. Ох, Янко, я потеряла сон, а ты ни о чем не пишешь, кроме как о своих проклятых коврах!»

Когда спала жара, он приехал за ней; а в *locanda***, где меняли лошадей, она откинула вуаль и с таким отвращением сказала: «Здесь воняет верблюдами!», что он засомневался, надолго ли хватит ее любви к нему.

* бонбоньерок (франц.).

** гостиница, постоялый двор (итал.).

Позже, глядя на луну в осеннем небе, она сказала: «Видишь эту луну? Такая маленькая, будто крошечная сосулька, а не луна!»

Она прижимала к себе его голову так, словно голова не принадлежала ему, словно хотела защитить ее ото всех на свете; ото всех других, наверно, смогла бы, но только не от самой себя. А утром они украдкой высматривали друг у друга синяки на губах, боясь, что кто-то посторонний может их заметить. Вечерами они молча слушали шум и голоса, доносившиеся с разъезженной улицы, где они жили на окраине города; но он больше не боялся, что они станут похожи на супругов, которые в ресторане сидят за отдельными столиками, разглядывают наклейки на бутылках и лепят шарики из хлебного мякиша. Вместо этого они лепили тишину, хорошо зная, о чем думает каждый.

После такого безмятежного существования в Коньи им казалось, что жизнь в Смирне словно уносит их течением в разные стороны. И не потому, что ему часто приходилось уезжать по делам в Афины, Александрию или в Марсель — наоборот, они тогда писали друг другу, и это их даже сближало, — скорее потому, что по законам светской жизни каждому из них полагалось блистать в своем собственном окружении. И вот в гостях они оказывались в разных концах комнаты, где каждый думал, что принадлежит сам себе, а на самом деле был собственностью общества. Он издали восхищался ее фигурой и драгоценностями, а она с щемлящим чувством заново оценивала достоинства своего мужа, о которых льстецы спешили ей поведать.

Он никогда не задумывался, были ли у нее любовники — его это не волновало. Она же примирилась с тем, что у мужа есть любовницы, потому что условности позволяли мужчине быть немного ветреным. И потом, говорила она, он меня никогда не бросит.

Он и не собирался. Они любили друг друга.

В оливковых рощах за Борновой они, бывало, катались верхом, иногда вдвоем, но чаще в компании знакомых.

Сидя на гнедой кобыле, которую он купил ей в подарок на день рождения, она украдкой оглядывалась, искала его глазами. Заметив же блестящие кожаные краги мужа, медленно движущиеся на фоне тускло-черных стволов оливок, она успокоенно поворачивалась к своим спутникам — французу, итальянцу и поляку — и продолжала разговор о литературе. С томным видом восседала она на своей лошади, перчаткой отгоняя мух. Из троих кавалеров она отдавала предпочтение французу: его неискренность служила ей надежной защитой.

В то утро, когда ее сбросила лошадь, именно Нетийяр донес ее на руках до дороги.

— Не смейте смотреть на меня. Мне тяжело, — жалобно проговорила Констанция Филиппидес, ни к кому не обращаясь. — Ужасно нелепое положение... Впрочем, так всегда бывает, когда сталкиваешься с грубой реальностью.

Она очень страдала, особенно когда потеряла ребенка, на которого они оба возлагали большие надежды.

— У нас еще все впереди, Янко, — пыталась она взбодрить его.

Но им, видно, было не суждено иметь ребенка.

Зато они жили в красивом доме розового мрамора на набережной, и бриз лазурного Эгейского моря врывается в распахнутые двери, принося прохладу в комнаты. Прохожие, глядя на кугіоі* сквозь чугунную ограду, завидовали их безоблачному счастью.

Невозможно было сразу поверить, что история перетасовала их судьбы, словно колоду карт, а то, что стало частью их жизни, превратила в пожарище. Оказавшись на борту эсминца, они видели, как в маслянистых отсветах взрывов над разоренным городом медленно поднимались черные конусы дыма. Бегая в поисках своей потерявшейся половины, Филиппидес поранил голень о трап. Но даже не понял этого. Только все звал и звал ее. Никто в этой огромной толпе богато одетых беженцев (плачущие и сдержанные, обес-

* господ (греч.).

сиденные, сломленные, опаленные дыханием истории, которая коснулась их впервые в жизни, они стояли на палубе и смотрели, как горит их город) — никто ничего больше не понимал. С помощью денег они сумели проникнуть на французский эсминец. Но ради чего? И разве мог маленький растерзанный человек в английском костюме, метавшийся среди них, что-либо объяснить им, лишь без конца повторяя одно и то же имя? Да еще в шляпе канотье с жеваными полями... «Констанция! — звал он. — Констанция! Любовь моя!» Он протискивался вперед, работая кулаками, а все медленно провожали его взглядом; но вот какой-то человек — смуглее, массивнее и респектабельнее других — отделился от толпы и ударил обезумевшего господина, с которым любовь, похоже, сыграла злую шутку.

С трудом проталкиваясь дальше, Филиппидес лишь мельком подумал, почему это Киккотис — да он ли? — аптекарь — а может, нет? — налетел на него на палубе судна, выполняющего миссию сомнительного милосердия. Через несколько лет он старался вовсе не вспоминать этот случай. В той суматохе самое главное было — сосредоточиться, и он целиком был занят тем, чтобы снова взобраться по веревочной лестнице, удержать тело жены на этом шатком сооружении, болтающемся во власти враждебного ветра. А потом они совершенно непонятным образом потеряли друг друга.

— Констанция! — молил он ее вернуться к тому, что осталось от жизни.

Вдруг он увидел, как она идет к нему из темноты и отсветы горящего города вспыхивают медью на перьях ее шляпки, так нелепо выглядевшей на ней сейчас. Выбегая из дому, она напялила ее машинально, подчиняясь условностям моды. Шелковистые серебряные нити ее платья порвались и развевались на ветру, такие мягкие на ощупь. Она стояла рядом, пытаясь его успокоить.

— Янко, — оправдывалась она, — я чуть не потеряла нашу коробку. Поставила ее на пол. Только на минутку. А когда нашла, на ней уже кто-то сидел.

Озаренная всполохами пожара, Констанция стояла в своей

дурацкой шляпке из перьев, держа в руках найденную коробку.

— Какого черта! — закричал он, почувствовав, как отлегло от сердца.— Что ты додумалась взять с собой в этой коробке?

— Чайные стаканы,— ответила она.— От русского, из Коньи.

— Которые с таким же успехом могли отправиться за ним в Россию! Или ко всем чертям в Коньи! Коробка! Боже мой, стаканы!

Вспышка огня ослепила ее. Она не выдержала и разрыдалась прямо на пассажирской палубе, где на семейные сцены уже никто не обращал внимания.

Он взял ее под руку и смотрел, как гибнет Смирна, а она продолжала всхлипывать, и коробка подпрыгивала у нее в руках, задевая о платье. Констанция ни за что не хотела выпускать ее из рук.

В маленькой беседке под Женовой Филиппидес помешивал ложечкой остывший чай. Маллиакас выпил уже слишком много чаю. Да еще на пустой желудок. И его начало подташнивать.

— Что ж, не самое большое несчастье в жизни,— сказал Филиппидес,— если бы не касалось нас лично.

Но теперь даже собственные несчастья далекого прошлого мало волновали старика в спортивной шапочке. Его больше заботили сиюминутные мелочи. Взглянув на часы, он заметил:

— Очень жаль, что жена запаздывает. Мы решили угостить вас *avgolemono**. Она готовит прекрасный *avgolemono*; наверно, научилась этому, хоть и не признается, от кирии Ассимины, экономки, которая служила у нас на Хиосе и которую она недолюбливала.

Взгляд Филиппидеса стал сосредоточенным. Обещанный женой суп вновь вызвал к жизни картины прошлого.

— Мы некоторое время жили на Хиосе,— сказал он,—

* бульон с яйцом и лимонным соком (*греч.*).

в доме моего дедушки; я думаю, он до сих пор принадлежит мне.

— Дом, где хлопают ставни.

— Да! — воскликнул Филиппидес. — Так вы помните? Но гость не ответил. Он был уже там, в доме.

— Всякий раз, как дул *meltemi**, — пробормотал Филиппидес.

Ветер продувал насквозь загроможденные мебелью комнаты. Все было покрыто слоем серого пемзового песка, и Констанция Филиппидес ходила по серым комнатам и вытирала, вытирала, пытаясь справиться с этим песком.

— Аглая! Кирия Ассимина! — звала она, не в силах справиться со ставнями. — Они *хлопают!* — из-за ветра ее жалобный голос звучал резко. — Две женщины в доме, — кричала она, — и обе ни о чем не думают, пока не ткнешь носом. Быстрее! Помогите мне! А то я все ногти поломаю!

И две служанки бежали на зов, прямо в тапочках на босу ногу, чтобы предотвратить несчастье, — вечно недовольная кирия Ассимина и девушка с Лемноса.

— Аглая сильная, — сказала однажды миссис Филиппидес мужу. — Как бык.

Он, кажется, ел вишни и ничего не ответил; видя, как он сплевывает косточки в ладонь, она досадливо закусила губу.

— И ловкая. — Миссис Филиппидес вздохнула.

Сильная и кроткая смуглая девушка очень ловко справлялась со старыми ржавыми засовами старых хиосских ставней. Миссис Филиппидес была рада, что привезла ее, потому что муж часто уезжал в Александрию или Марсель и она оставалась одна.

Иногда, если он был дома и они проводили вечер вдвоем — он читал иностранные газеты, она раскладывала пасьянс, — они вдруг вспоминали английский — язык, доставшийся в наследство от детства и гувернанток.

— Кстати, кроме всего прочего, я принесла Аглаю, чтобы

* северный ветер (*греч.*).

скрасить одиночество,— сказала как-то раз миссис Филиппидес.

— Принесла? — засмеялся он.

— Привезла,— поправилась она, не скрывая раздражения, и повторила.— *Привезла! Привезла!*

Он предпочел не продолжать разговор на тему, касающуюся их горничной.

— Вас причесать, кyria? — спрашивала Аглая с утра, когда не бушевали страсти.

Констанции очень нравилось, как Аглая сильно и вместе с тем нежно расчесывает ей волосы.

Она поднималась и ходила по пустому дому. Да, она любила мужа — даже если он ее не любил,— ведь никто никогда не любит по-настоящему.

— И как он может любить дьяволицу? — услышала как-то Констанция. Говорила кирая Ассимины. В ответ — тишина. Аглая молчала.

— Дьяволица! — ворчала кирая Ассимины.

Однажды она крикнула:

— Кто ж она еще, как не дьяволица? Императрица Византийская, что ли?

Кирая Ассимины выносила ночную вазу на голове. Миссис Филиппидес пришлось сделать ей замечание:

— До чего отвратительная привычка! Удивляюсь вам, кирая Ассимины, вы же воспитанная женщина.

Когда разбился стакан — один из русских чайных стаканов, которыми господа непонятно почему очень дорожили,— миссис Филиппидес накинулась, конечно, на Аглаю и ударила ее по лицу. Но в те дни горничные не ожидали лучшего обращения. И Аглая промолчала, как и прежде.

— Боже мой! Спасибо, Аглая! — услышала миссис Филиппидес.

— Я бы закричала, я себя знаю,— призналась кирая Ассимины.— Дурацкие уродины — стаканы! Да их еще куча осталась. Она действует мне на нервы. Из-за нее у меня все из рук валится.

Аглая молчала.

Вечером миссис Филиппидес послала за горничной. Она не извинилась: нельзя же, в самом деле, извиняться перед чернявой девчонкой с острова.

— Принеси свое рукоделие,— сказала она мягко,— и посиди со мной немного. Пока я читаю. А то одной как-то тоскливо.

Так вот они и сидели вместе, госпожа и служанка, нарушая все приличия. Но ведь никто этого не видел.

И миссис Филиппидес, жившая в доме за фикусовой оградой, часто стояла у окна с облупившимися ставнями и поглядывала на богатых дачников из Афин, которых не принято приглашать в гости; они же, заметив ее, слегка приподнимали шляпы. При свете дня было видно, что она уже седая, но все еще изящная, элегантная женщина.

Вечерами, когда мужа не было дома, она гуляла по саду вокруг дедушкиного дома, колола миндальные орешки и грызла сладкие ядрышки. Обычно ее сопровождала горничная, коренастая кудрявая девушка, которую она привезла с собой из какой-то поездки.

Ведь миссис Филиппидес тоже иногда уезжала из дому. После случая с цыганкой она уехала в Афины.

Когда пришла цыганка, мистер Филиппидес сидел на террасе. Кирия Ассимины только что подала чай. Видимо, Аглая — горничная с Лемноса — еще не появилась на сцене.

— Всего один *taliro**, *kyrie mou*, и я тебе погадаю,— пообещала цыганка.

Под ситцевым платьем угадывались обвислые груди, от нее пахло дымом костра и теми особыми маленькими лепешками, что продавались в лавчонке на углу парка.

— А волосок! Ты должен дать мне волос со своей груди,— сказала цыганка.

И маленький гладкокожий Филиппидес искал на себе волос.

Одному богу известно, как долго танцевала цыганка, раздевшись донага, среди скал Айя Мони. Но в том, что она действительно танцевала, не было сомнений. Она шла на-

* денежная единица: доллар, талер (греч.).

зад неторопливой танцующей походкой, и одежда на ней казалась невесомой. Есть такие женщины, которые, несмотря на возраст, еще умеют танцевать самозабвенно. Миссис Филиппидес не могла даже отдаленно представить себе этот танец цыганки в холодном сиянии полной луны.

Вот почему Констанцию так раздосадовало предсказание цыганки, почему она уехала, почему могла и не вернуться — а жить, например, в Париже, воскресив образ мужа в серебряной рамке, — но все же вернулась и привезла с собой девушку с Лемноса себе в утешение.

— Вот видишь, — сказала она мужу, — жизнь устраивается не только для тебя, но и для других тоже.

В сером доме звучали голоса.

В ту ночь, когда она вернулась, голоса заглушили друг друга.

— Ах! — кричала она. — Янко! Ты сумасшедший! Сумасшедший!

И смеялась от его сумасшествия. И впивалась в него зубами.

Кирия Ассимины, которую пока еще не уволили, не могла всего слышать.

— Хорошо, давай уедем отсюда. Поедем в Афины, — сказал он наконец после долгих раздумий.

— Я ведь не *прошу* тебя об этом, — ринулась она на защиту своей слабости, которую он давно уже воспринимал как нечто само собой разумеющееся.

— Но вопрос стоит о твоём здоровье.

— Это просто возраст, — сказала она, поджав губы. — Я знаю, про женщин моего возраста есть много анекдотов. Тем не менее это так.

Он прикрыл ладонью ее руку; от этого жеста у нее подступал комок к горлу: ей хотелось взять его маленькую морщинистую руку и спрятать навсегда у себя в сердце. Там, где ничто не умирает.

Дело было не только в ее неважном самочувствии, хоть оно тоже сыграло свою роль. Было много и других

причин: пыльный дом с хлопающими ставнями, который высвечивался насквозь прожектором маяка с противоположного конца мола; разъезженные, ухабистые дороги на острове; длинная гора серой пемзы; долгие вечера, когда дамы пили чай с вареньем, думая о том, какую бы сумочку заказать себе из Афин. Ох уж эти тоскливые хиосские вечера, сырые и душные! Но больше всего миссис Филиппидес боялась, что сбудутся предсказания цыганки, и надеялась убежать от судьбы, переехав в другое место.

И вот вместо сумочки Констанция Филиппидес заказала себе новую жизнь. Радость трепетала у нее на губах, отражаясь в серебряном зеркале с узором из ирисов и бантиков.

— А ты не подглядывай,— сказала она и положила зеркало на стол, когда муж заглянул ей через плечо.— Разве ты не знаешь, что лицо женщины в зеркале больше выдает ее тайны, чем в реальной жизни.

Интересно, какая же у нее *реальная жизнь*? — подумал он. От смущения у нее изменился голос. Забилась жилка под левым веком. Он любил ее за те тайны, что они разгадывали вместе, но еще больше за те, которые он не в силах был помочь ей разгадать.

Они уехали на маленьком пароходике, который выходили встречать все жители города в ожидании чего-то, чего он никогда не привозил.

Чета Филиппидесов отправилась в Афины, где поселилась у подножия холма Ликавит. Район этот считался вполне престижным, хотя можно было выбрать и получше. Как бы то ни было, миссис Филлиппидес отдалилась от общества, почти не поддерживая знакомств с людьми своего круга.

— Мне слишком хорошо,— говорила она, оправдывая свое отношение,— я слишком эгоистка, если угодно, чтобы дорожить этими людьми.

В ее тоне слышался вызов, словно она ожидала, что кто-то будет с ней спорить. Но муж ничего не ответил. А служанка есть служанка.

Во время деловых поездок мужа в средиземноморские порты миссис Филиппидес вела уединенный образ жизни. Он подозревал, что без него она становится совершенно счастлива. Судя по письмам, разлука приносила покой.

Дорогой мой Янко, (как-то раз написала она) когда тебя нет со мной, я живу воспоминаниями о нашем прошлом, и ничто не мешает этому, никакие неурядицы которые то и дело происходят в настоящем! Ты можешь спросить: а как же неурядицы прошлого? Что ж, они больше не причиняют боли.

Кстати, должна тебе сказать, что Аглая разбила один стакан. Я ударила ее. Она даже не заплакала. Я часто думала, неужели эта девочка совсем ничего не чувствует но потом пришла к выводу, что она просто очень тактично и потому не позволяет себе такой роскоши. Я очень дорожу ею, Янко. Хоть и никогда не скажу ей об этом. Это поставило бы нас обоих в неловкое положение. Но она разбила стакан — и теперь осталось только два стакана из всех, что ты купил у русского в Коньи. У нас было много потерь, но, конечно же, стаканы — самая тяжелая. Когда разбивается нечто такое прочное, такое небьющееся, испытываешь поистине физическую боль...

Такую сильную, что миссис Филиппидес заболела. Когда он вернулся, она лежала в постели.

— Пустяки, — сказала она. — Ничего серьезного, просто мигрень.

Она говорила еле слышно, явно делая над собой усилие.

— Ничего не случилось, пока тебя не было, — сказала она. — Только вот стакан разбился. Несчастный русский стакан.

Они вместе посмеялись над случившимся, и он слегка коснулся ее руки, но не интимным жестом, а так, как врач касается больного. Она была рада его сдержанности.

Вскоре миссис Филиппидес поправилась. Был конец лета. Она выходила в пеньюаре на террасу и поливала ломкие

пеларгонии и гардению, которая чуть не сгибалась под тяжестью крупных соцветий.

— У нее очень душный запах,— пожаловалась Констанция.— Надо от нее избавиться.— Она помолчала.— Уанко тоц, подари ее кому-нибудь из своих прелестных дам.

Она постаралась обратить свое замечание в шутку, но по тону было ясно, что она все знает и старается быть терпимой.

В английском костюме и с подстриженными усами он все еще выглядел франтом. Иногда она брала маникюрные ножнички и подстригала ему волосы, торчавшие из ноздрей.

— Чтоб ты выглядел еще привлекательнее для своих прелестных партнерш по бриджу,— объясняла она.

После игры в бридж, куда она обычно не ездила, он возвращался поздно; она окликала его с террасы, он подходил и садился рядом с ней на край плетеной кушетки. Пожалуй, только в эти минуты он принадлежал ей безраздельно.

— Кто там был? — спрашивала она.

Хотя ей было совершенно неинтересно знать, а ему — вспоминать.

Он ощущал приятную усталость, а она, отдохнувшая, принималась довольно энергично ходить по террасе между растениями, которые как бы оживали от вечерней прохлады, и слышно было, как шуршат складки ее шелкового платья. Констанция все еще носила высокую прическу. Потому что это шло ей. И когда она двигалась, свет от фонарей или луны падал ей на лицо, отчего оно напоминало разбитую античную мозаику.

— Я стала теперь такая тощая и безобразная...— начинала она и замолкала.

Ведь оба знали, что это не так. Она была произведением искусства, которое может создать лишь страсть, работая долгими летними вечерами, дабы вдохнуть в него жизнь.

— Я проголодался,— говорил он.— Пойду попрошу Аглаю дать мне что-нибудь поесть.

— Да, наша Аглая приготовит что-нибудь для тебя. Если тебе нужно.— Тут она начинала играть своим голосом, превращая его в орудие язвительных насмешек.— Если ты не сыт по горло сальностями, которые вы отпускаете за партией в бридж.

В темноте, прорезанной полосками света, он слышал только, как скрипят цветочные горшки: Констанция передвигала их с места на место.

— По крайней мере Аглая приготовит тебе что-то *стоящее*. Я-то ведь так и не научилась готовить!

— Ты бы научилась, если бы захотела,— мягко возразил он однажды. И пошел на кухню.

— И померла бы со скуки, вечно стоя у плиты? Нет уж, благодарю покорно! — Она даже рассмеялась от возмущения.— Боже, какая скука! Тебе со мной не скучно, Янко?

Ответа не последовало, и она решила, что он не расслышал, но с другой стороны, что было толку в его ответе? Она достала скомканный платок из выреза платья и высморкалась.

Констанция всегда прислушивалась — ее раздражало, что нельзя разобрать слов,— прислушивалась к их голосам на кухне: легкий металлический каданс отрывочных фраз. Даже не назовешь разговором. С другими эта сильная, крепкая девушка говорила более непринужденно, но то с другими. Да и девушкой ее уже не назовешь: располнела, поседела.

— *Яанко* *моу*,— позвала Констанция,— попроси Аглаю принести ужин на террасу. Мы немного поболтаем, пока ты ешь.

Она стояла в темноте, вслушиваясь в звуки собственного голоса. Прислушиваясь.

Ей нравилось самой разложить для него салфетку, самой принести стакан чая.

В тот вечер, когда Аглая уехала за город с полицейским из Мениди — полезное для нее знакомство, хоть она и уверяла: «*О нет, кирия, его нельзя принимать всерьез, это*

просто так», — Констанция принесла два стакана — все, что осталось от целого набора.

— Вот, — сказала она, ставя их на стол, — я хоть и не умею готовить, но не такая уж плохая хозяйка.

Он смотрел, как она нервно подрагивает ногой, отпивая маленькими глоточками чай.

— Ты, наверно, проголодался после бриджа, — сказала она, — а я, к сожалению, не Аглая.

— Я не голоден.

— Не голоден? Не может быть! Ведь уже поздно!

Маленький человек, ее муж, неторопливо пил чай. Глядел ли он на нее? Думал ли о ней? Сделав слишком большой глоток, она, должно быть, обожгла горло. Длинный беспечный лучик света словно пальцем коснулся ее хмурого лба.

Немного оправившись, она попросила:

— Расскажи хоть, с кем ты играл у Сарандидисов.

— Не знаю, — ответил он. — Забыл.

Это было последней каплей.

Августовская жара, казалось, докрасна раскалила ночной воздух. В такую ночь искусственное освещение коварно обнажает все изъяны. Констанция с горечью заметила, что на цветках гардении появились бурые каемки.

— Ах! — вскричала она, отрывая один цветок, — ну зачем надо обманывать?

Обрывая потемневшие, сморщенные, будто лайковые, лепестки, все еще источавшие пьянящий аромат, она сама не понимала, к чему говорит все это.

— А ты что, *сама* обманываешь? — спросил он.

— Не знаю, не знаю, — повторяла она. — Это получается само собой.

— Ну за *себя-то* я отвечаю, — сказал он.

— Разве? — спросила она, выпрямившись как струнка; он видел силуэт ее высокой прически. — Разве ты знаешь, — услышал он, — какое впечатление ты производишь на других? — Ее голос звенел. Свет из комнаты прорезал темноту террасы. — А все эти дамы в парижских туалетах! Про-

пахшие сигаретным дымом! Цепляющиеся за свои карты Помешанные на бридже! — Она поднялась, чтобы нанести решающий удар.— Это еще ладно,— сказала она.— Но Аглая. Даже Аглая!

— Бог мой!

— Да! — вскричала она; от собственной смелости у нее закружилась голова.— Аглая! Ты настолько упоен успехом, что не можешь остановиться, обхаживаешь, соблазняешь даже служанку.

В пляске ненависти закружила темноту длинная, блестящая, не подвластная времени юбка. Голос тьмы захлебнулся от ненависти.

— Бог мой! — повторил он.— Что, если войдет Аглая и услышит весь этот вздор?

— О да! Вздор! Вздор! Аглая честная. Верная. Да. Она тверда, как скала, и только воля господня может сломить ее.

Констанция зашла уже так далеко, что не могла остановиться: она взяла свой стакан и швырнула его в угол террасы. Блестящие осколки со свистом раскатились по кафельному полу.

Когда он ее поднял, ей послышалось:

— Ты никогда не убьешь моей любви к тебе, Констанция, как ни старайся.

Всей душой она хотела поверить, услышать еще слова верности. Достичь высоты, на которой он стоял. Но расстояние было слишком велико.

— Наверно, я все-таки убила ее. Сама убила,— сказала она.— И так лучше.

Он поднял ее на руки и прижал к себе, стараясь перелить в ее изнеможенное тело хоть каплю своей силы.

Немного придя в себя, она взяла уцелевший стакан; вошла Аглая, еще не сняв шляпки, приняла стакан из рук своей госпожи, ополоснула его и убрала на место.

Малликас так долго просидел в беседке в Колоньи, что его бедра и ягодицы уже болели от впившихся в них пруть-

ев металлического кресла, а вокруг глаз проступили пятна: давала о себе знать больная печень. Но он не жалел потерянного времени. Напротив, он был заворожен рассказом как никогда в жизни.

Правда, теперь он начал покашливать и посматривать на свои дорогие швейцарские часы.

— Что-то она задерживается,— сказал старик, уставившись куда-то вдаль, поверх печального озера.— Она уж чересчур сердобольна. А все этим пользуются.

Но как раз когда гость встал и собрался откланяться, на гравиевой дорожке послышались шаги: кто-то шел к ним от дома.

Маллиакас не мог заставить себя обернуться; он застыл, ссутулившись в тесном решетчатом павильончике, слыша только свое прерывистое дыхание.

Когда шаги были уже совсем близко, старик повторил: — Все этим пользуются,— и, не глядя в сторону дорожки, добавил уверенно: — Наконец-то она пришла, и вы можете с ней познакомиться, а я получу свой суп.

Гость взглянул на смуглую женщину, приближавшуюся к беседке. Она неторопливо обходила лужи и грязь, мокрый гравий хрустел у нее под ногами.

— Аглая,— сказал наконец мистер Филиппидес,— этот господин из Александрии. Друг Тилотсона, который прислал письмо. Помнишь? Из Смирны. Тилотсон занимался инжиром, кажется. Он еще хорошо играет в теннис.

Миссис Филиппидес держалась очень уверенно, и только улыбка слегка выдавала ее смущение. Приятная белозубая улыбка на темном, смуглом лице.

С облегчением вздохнув, Маллиакас все же пробормотал что-то про автобус.

— Я провожу этого господина до автобуса,— спокойно сказала она и ласково предложила: — А ты не пройдешься с нами до дома? Женевьева зажжет камин.

— Камин! Я лучше посижу здесь еще немного. Один,— заупрямился Филиппидес.— И полюбуюсь закатом солнца. Если получится.

Вряд ли у него была такая возможность, потому что швейцарское небо было затянуто тучами.

Миссис Филиппидес вышла из беседки, и Маллиакас приготовился следовать за ней.

— Приходите еще,— сказал старик.— Я расскажу вам о моей жене. Мы все время собирались вернуться, посмотреть себе дом в Смирне. Но она не желала видеть турок. Мы все время собирались что-нибудь сделать. Научиться готовить. Или научиться владеть собой.

Но вторая миссис Филиппидес уже шла по дорожке, и гость послушно направился за ней, глядя на ее приземистую фигуру под широкополой летней шляпой.

Видимо, оттого, что джентльмен шел сзади — слишком узкой была тропинка,— она осмелела и заговорила.

— Он сидит здесь часами. Это его любимое место. И любимое занятие. Пить чай из этого стакана. Он рассказал вам о них,— заметила она уверенно.

— А он не простудится?

— Да нет. Он очень подолгу бывает на свежем воздухе. И думает.

Тяжело ступая, она шла по дорожке.

— Он вам рассказал о Ней? — спросила миссис Филиппидес, помолчав немного.— Она бы знала, как вас развлечь. И о чем говорить.

Гравий все хрустел под ногами.

— Она была *agchontissa**,— пояснила она.— А я простая крестьянка. Служанка. Но женой ему тоже была. Потому что любила ее. Надеюсь... мне кажется, она бы не осудила меня. По крайней мере не за все.

— И давно умерла миссис Филиппидес? — осторожно спросил Маллиакас.

— Давно ли? Да. Как давно? Ах, очень давно...— Вторая миссис Филиппидес вздохнула, словно пропасть между «тогда» и «теперь» была для нее неизмеримо велика.

— У нее, кажется, было не очень крепкое здоровье.

— Ах да при чем тут здоровье! — ответила миссис Фи-

* барыня, дама благородного происхождения (*греч.*).

липпидес.— Кугія умерла страшной смертью. Ох, страшной! Я предчувствовала, что так будет.

И вдруг слова начали безудержно срываться с губ этой крестьянки: сперва отрывистые, они внезапно хлынули мощным потоком, который тут же подхватил ее спутника, и он понесся вслед за ней с верхнего этажа — по винтовой лестнице — на улицу...

Горничная бежала прямо в тапочках. Они шлепали по мраморным ступеням.

Был час красноватых летних сумерек, от которых до боли, словно тисками, сжимает виски. Они стояли рядом на тротуаре. Он ощущал страх в ее сильном, но беспомощном крестьянском теле.

— Кугія mou! Кугія! — запричитала горничная.

Потом нагнулась.

Ее большой зад сотрясался от горя, большая грудь, казалось, вот-вот издаст последний вздох.

Склонилась над телом, распростертым на обочине.

Констанция Филиппидес едва могла шевельнуть головой. Тело ее было недвижимо. Горничная положила ее поудобней и расправила сбившееся платье. Еще не успели собраться зеваки; прибежали только две дамы, жившие на первом этаже, и какая-то собака крутилась под ногами.

— Аглая...— Темная струйка крови текла по подбородку, но Констанция заговорила, пытаясь о чем-то попросить горничную.

А та стоит на коленях и качается из стороны в сторону.

— Кугія! Ach, кугія mou! Что теперь делать? Что нам делать?!

Качается и причитает, уже одетая в траур.

— Я рада, Аглая,— сказала Констанция Филиппидес,— что ты никогда не сломаешься. Никогда. Ты не смеешь! — И, приподнявшись на миг над растекающейся лужей крови, добавила: — Видишь, это только я сломалась.

Полицейский перенес ее в дом, как горничная ни порывалась сделать это сама.

Когда все кончилось, они почти дошли до автобусной остановки. На улице все было тихо и спокойно.

— Вы успеете,— сказала миссис Филиппидес.— Хоть швейцарцы и очень пунктуальны.

Она опять была сама собой — сдержанной, флегматичной и спокойной.

— Хорошо, что kyrios поговорил с вами,— сказала она.— Ему, наверно, было приятно. Он ведь стал таким безразличным ко всему.

Она помолчала, задумавшись; ее вновь охватила тревога.

— Знаете,— проговорила она быстрым прерывистым шепотом,— это ведь последний стакан, и если он разобьется, что со мной будет? У меня тогда ничего не останется.

Неожиданно миссис Филиппидес замолкла, словно вдруг заметив свою наготу, повернулась и пошла, неуклюже переваливаясь, назад, в сырой заросший сад. Маллиакасу не хватило духу посмотреть ей вслед. Да и автобус как раз подошел. Точно по расписанию: швейцарский. Он побежал к автобусу. Подальше от тишины. С натянутой улыбкой на губах. Страшась, что его позовут и он услышит звон осколков последнего стакана.

Сосны Аттики

Сначала уехала мама. Потом отец. Уходя, он выдернул у нас из-под ног коврики, сказав торопливо, что это коллекция, что все это представляет большую ценность. Какое-то время мы были одни. Нет, не то чтоб совсем одни... В доме остались фройляйн Хофман, мадемуазель Леблан, экономка кирия Смарагда, Эвридика — наша кухарка и еще две горничные с острова Лесбос. Все они то и дело шептались о чем-то, и на душе у нас было пусто и безотраднo.

Потом нам сказали, что скоро все образуется, что скоро в Египет приедут наши тетушки. Мадемуазель Леблан отправила им телеграмму в Смирну, и вскоре действительно

появились тетушки. Тетя Урания — очень строгая с виду и тетя Талия — артистическая натура, как говорила нам фройляйн Хофман. Как бесподобно поет она *Lieder**! С каким *Gefühl***!

С приездом тетушек снова все оживилось. То и дело хлопали двери, играла музыка, на лестнице сталолюдно. Наш старый дом на окраине преобразился. В тот год моя старшая сестра Фроссо влюбилась в какого-то итальянца-спортсмена, а брат Алеко решил, что будет кинозвездой. Молодые горничные, покончив с уборкой посуды, бежали к себе наверх, высовывались из окон, пытаюсь дотянуться до финиковой пальмы. Иногда слышался гулкий стук. Это в сыром саду падали финики. А как тенисто, свежо было в саду, когда нас приводили домой с пляжа! Со скрипом распахивалась калитка, и мы, а за нами наши наставницы, входили в зеленую чашу листвы, отгороженную от остального мира стеною желто-песочного цвета.

Фроссо, старшая моя сестра, говорила, что это ужасно, невыносимо, кошмар, паршивая Александрия, ну почему ей не дают носить туфли на высоких каблуках, ах, вот бы сейчас в Европу, как хочется настоящей любви, настоящей, страстной. Мне же в ту пору отнюдь не казалось, что все так плохо. Впрочем, я был другой, не такой, как Фроссо. Дионис — послушный, умный, уравновешенный мальчик, говорили обо мне тетушки. И они были правы, мне было даже досадно, но досаду быстро сменяли иные чувства, чувства неизъяснимо приятные, и особенно когда я был дома и кругом царило оживление, слышались голоса.

Вот за овальным столиком сидит моя сестра Агни. Пишет сочинение. Вот младшие брат и сестра что-то не поделили. А сверху доносится говор горничных, толкующих свои странные сны. А когда за окном уже вечер, гостиную с позолоченными зеркалами наполняют фортепьянные аккорды. Это тетя Талия играет Шумана. «Бесподобно,— говорит фрау Хофман,— вы превзошли фрау Клару, ваша

* Здесь: рождественская песня (нем.).

** чувством (нем.).

интерпретация...», и я начинаю думать, кто эта фрау Клара интересно, как играет она. Тетя Талия сияет от удовольствия, складывает руки крест-накрест и вот уже для мадам-муазель Леблан поет *une petite chanson spirituelle de votre Duparc**, а та сидит и штопает на деревянном яйце, и на губах ее блуждает улыбка.

О, это были чудесные вечера. Иногда, впрочем, дверь гостиной распахивалась, кто-то входил, свечи испуганно трепетали, пламя грозно клонилось к нотам, но тотчас вновь теплилось, тихо и строго. Музыка не умолкала. А когда умолкала, тишина стояла необыкновенная. В те далекие годы можно было еще услышать, и нередко услышать, как по улице в клубах пыли идут верблюды, и в самой вечерне прохладе тогда слышался запах верблюда.

О, конечно, это было для нас счастливейшее время. Ну то, что сестре моей Фроссо жизнь казалась такой ужасной было, в общем, несколько не удивительно: увидала на пляж того итальянца и влюбилась, и жизнь ее превратилась в муку

В том году почти напротив нашего дома поселилась семья Ставриди. Как-то раз я вбежал в гостиную с новостью

— Тетя Урания, а вы знаете, что Ставриди тоже из Смирны? Я сам слышал от Эвридики. Ей сказала кухарка Ставриди.

— Да, я знаю,— низким, суровым голосом ответила тетя.— Но однако, *Dionisi mou*, мне не нравится, что ты стал подолгу бывать на кухне. Детям там делать решительно нечего.

Всякий раз, когда тетя Урания принималась говорить со мной таким тоном, мне становилось обидно, ведь я, как никто другой, пользовался ее расположением, но я, конечно не подавал виду, вернее, делал невинный вид.

— А вы знали их, тетя Урания?

— Хм, некоторым образом. Как бы это сказать... Впрочем, да, если на то пошло, я их знала.

И тетя Урания посмотрела на меня так строго, что ка-

* веселую песенку вашего Дюпара (франц.); Анри Дюпар (1848—1933) — французский композитор.

залось, вот-вот разразится гроза, но грозы не случилось, а тетя Урания коснулась рукою моей туники, затем головы и начала поглаживать мою стриженую макушку. Так было всегда.

— Значит, и мы с ними познакомимся? Да, тетя Урания? Эвридика сказала, что у них есть девочка. Ее зовут Титина.

Тетя Урания еще больше нахмурилась.

— Я еще пока не решила, не знаю, стоит ли связывать себя этими отношениями,— сказала она после некоторого раздумья.— Видишь ли, эти люди, Ставриди,— тетушка многозначительно кашлянула,— ну, словом, не совсем желательны в некотором смысле.

— Как «нежелательны»?

— Хм, как бы это сказать...— рука тетушки не переставала гладить мою макушку.— Отец кирии Ставриди был аптекарь. Они жили в доме, где у моего отца была лавка, на втором этаже. Нет, не подумай, я ничего не имею против кирии Ставриди. По некоторым меркам она, быть может, прекрасный человек, вполне возможно, но видишь ли... Но, впрочем, довольно, довольно об этом.

Тетя Урания отвернулась, отошла в сторону. Вот уж кто был действительно прекрасный человек! Она читала Гёте. Каждое утро, перед тем как выпить чашечку кофе. Минут пятнадцать. В великопостные дни не ела скоромного. Это она распорядилась, чтобы нас подстригли под ежик, мальчиков, разумеется. По ее указанию мы носили простые туники, как у детей рабочих. «Одежда должна быть скромной,— говорила тетя Урания,— да и с какой стати им тут выделяться; можно подумать, они какие-то особенные». Сама она носила короткую, почти мужскую стрижку и втайне от нас раздавала свои сбережения бедным.

— И все же,— сказала тетя Урания,— если я говорю, что Ставриди не совсем желательны в некотором смысле, это вовсе не означает, что вы, дети, должны относиться плохо к Титине, обижать ее.

Глаза ее увлажнились, голос звучал уже ласково:

— Вот ты, например, Дионис. С твоим добрым сердцем

ты, как никто другой, должен быть к ней внимателен. Титина такая бедняжка.

На этом наш разговор кончился. А жизнь продолжалась. После отъезда родителей ничего особенно важного не произошло. Что-то случалось, конечно, но все больше так — мелочи. Были, разумеется, гости. Из Парижа приехала наша родственница, тетя Каллиопа, профессор. Она давала на темы для сочинений и заставляла дышать по-научному в нос. Брат Алеко выписал для себя руководство по гипнотизму. Фроссо позабыла итальянца и увлеклась румыном. Агни получила приз за работу по алгебре. Мирто и Пол самые младшие в нашей семье, завели копилки. В этой текучке, среди стольких пускай незначительных, но все же приятных в какой-то мере событий, мне и в голову не приходило заводить разговор о Ставриди. Впрочем, нет, приходило, конечно, но я молчал, из уважения к тете Урании. Жизнь продолжалась, все шло своим чередом, нещадно палило солнце, морская вода разъедала кожу. По вечерам листья фикуса покрывались капельками влаги.

Но вот — это было во вторник вечером — я вбежал в гостиную и вдруг увидел кирию Ставриди. Она сидела в кресле возле окна, в любимом кресле тети Урании.

— Какой же ты будешь, мальчик? Старший, младшенький? — улыбнулась гостья, выставляя блестящие золотые зубы.

— Я средний. Меня зовут Дионис.

И тут бы я повернулся и убежал к себе, но эти золотые зубы... У меня захватило дух.

— Вот как, — сказала кирия Ставриди и опять улыбнулась. — Да, средним трудно приходится. Часто именно на их долю выпадают обязанности.

В этих словах ее было что-то загадочное. Да и сама кирия Ставриди, вся в черном, была точно призрак, окутанный пеленою пара. Я молчал, не зная, что ей сказать. Тут только я заметил, что кирия Ставриди пришла не одна.

— Познакомься, это моя Титина. Ты ведь не будешь ее обижать?

— Нет, что вы,— пробормотал я и перевел взгляд на ее дочку.

Титина Ставриди стояла у кресла. Вся в белом. Оборки, оборки, оборки, и тут и там — атласные бантики. Бантики были розовые, а так остальное все сплошь белое. Продолговатое лицо Титины растянулось в улыбке, и мне показалось, что у нее недостает передних зубов, двух или, может быть, трех. Лицо ее напоминало по цвету банан — все в крупных бледных веснушках, а по краям волос, на лбу, кожа почти как мел. Мне вдруг почему-то подумалось, что Титина Ставриди, возможно, все еще писается по ночам. Должно быть, такой у нее был вид.

Тут в комнату вошла тетя Урания, которая, наконец, услышала, что ее зовет наша горничная Афродита.

— А, кирия Ставриди,— проговорила она с порога низким мужским голосом.— Какими же это судьбами? Так вы, оказывается, в Александрии.

И протянула руку.

Кирия Ставриди порывисто поднялась с кресла и, пыхтя, отдуваясь, двинулась ей навстречу. Она была огромных размеров, особенно сзади. Остановившись в шаге от тетушки, она склонилась в глубоком поклоне; последовало легкое рукопожатие.

— Надо же, как приятно, мадемуазель Урания. После столького времени! А что, простите... мадемуазель Талия? Я помню, она такая изысканная!

Тетя Урания заметно смешалась.

— Моя сестра больна,— проговорила она наконец.— У нее мигрень.

На лице гостьи изобразилось волнение. Она принялась выражать сочувствие. При этом она задышала так часто, так тяжело, как будто ей не хватало воздуха.

Затем разговор пошел о каких-то совсем незнакомых людях, а это всегда было неинтересно.

— Дионис,— сказала тетя, когда наступило молчание.— Может, ты погуляешь с Титиной. Показал бы ей сад. Вам, детям, тут делать решительно нечего.

Но я стоял как вкопанный, и тетя тотчас про меня забыла. Титина Ставриди тоже стояла как вкопанная. Она походила на статую — нелепую, глупую, безобразную статую. Какие толстые у нее ноги, должно быть, мелькнуло у меня в голове. А эти бантики, панталончики все в оборках! Подойдя ближе, я разглядел, что нос у Титины картошкой, в веснушках, а на одной стороне — небольшая оспина. Глаза у Титины были огромные, синие и глупые-глупые.

— Мой муж, кстати, тоже, — говорила тем временем кирия Ставриди и почему-то запнулась, — постоянно хворает.

— Я помню, — сказала тетя Урания низким сухим голосом.

Гостья, похоже, совсем потерялась в словах. Вид у нее был грустный.

А между тем в дверях происходило движение. Алеко, Фроссо, не говоря уж об остальных, поочередно заглядывали в гостиную, вбегали и выбегали. Все, решительно все пришли посмотреть на ту самую кирию Ставриди из Смирны и на ее нескладную, безобразную дочку. И все они по очереди были представлены.

— Что ж, надеюсь, мы будем друзьями, — вздохнула кирия Ставриди, обращаясь скорее к нам, детям, нежели к тете Урании, ведь теперь было ясно, даже я понял, что надеяться ей на дружбу с тетушками вряд ли стоит.

— Я думаю, Дионис будет дружить с Титиной. Ведь он обещал мне. Кстати, и возраста они почти одинакового.

При этих словах Агни прыснула со смеху, Алеко ущипнул меня сзади, а маленький Поль, со свойственной ему непосредственностью, подошел к Титине и дернул ее за атласный бантик. Бантик развязался; казалось, Титина вот-вот заплачет. Ничуть не бывало! Она распустила свой рот в улыбке. Она улыбалась! Она улыбалась даже тогда, когда кирия Ставриди, сказав, наконец, все, что нужно ей было сказать, взяла ее за руку и повела к двери.

Едва они ушли, мы все зашумели. Всех разбирал смех.

— Нет, вы видели! — кричала Фроссо. — Вот так кирия Ставриди! Видели, какие у нее зубы?

— А Титина-то, вот пугало! — вторила ей Агни.— Атласа-то — на подвенечное платье хватит.

— Неужели теперь нам общаться с такой вульгарностью? — сказал Алеко и с недоумением посмотрел на тетушку.

— Как ты смеешь так говорить, Алеко! — вскричала тетя Урания.— Это ты вульгарен! — и вдруг ударила его по щеке.— Сейчас же ступай к себе в комнату!

Все это вышло так неожиданно, странно: Алеко — почти уже взрослый, самый сильный... Но нас ожидало еще большее удивление.

— Смотрите, смотрите! — завизжала, запрыгала Мирто, показывая на пол. Она была тихоня и отличалась большой наблюдательностью.— Смотрите же, Титина описалась!

И точно, на полу возле кресла, любимого кресла тети Урании, виднелась лужица, какая обычно остается после щенков.

Все побежали смотреть, обступили, отталкивая друг дружку.

— А ведь такая уже большая, — вздохнула тетя Урания. Вызвала Афродиту, Афродита пошла за своей знакомой, арабкой, та принесла ведро.

После этого происшествия о Ставриди словно забыли. Изредка доходили до нас слухи. Наши горничные видели, например, как она и он шли, заплетаясь, по улице, пели. Он, говорили горничные, выделявал кренделя. Но о Титине долго не было никаких известий. И вдруг — это было вечером, когда в поисках насекомых для моей коллекции я бродил со свечой по тенистому саду,— тетя Урания позвала меня в дом и сказала:

— Надо что-то срочно делать с Титиной. Завтра, Дионис, слышишь, ты пойдешь и приведешь ее к нам.

Отовсюду слышались унылые возгласы, а тетя Талия, которая сидела за фортепьяно в своем любимом лиловом платье с кружевным воротничком и играла Шумана, вдруг перестала играть и вся съежилась.

— Я?! Почему я?! — вырвалось у меня с отчаянием.

Но кому ж, как не мне, привести бедняжку Титину, объяснила тетя Урания. Я самый надежный, у меня доброе сердце. И я это знал. Даже кирия Ставриди тогда сказала, что обязанности зачастую ложатся на плечи средних.

На другой день я покорно отправился за Титиной. Между нами не было сказано ни одного слова. Зато у порога кирия Ставриди поцеловала меня — и на щеке осталось что-то ужасно липкое.

Вечером вместе со всеми мы гуляли по пляжу. Гуляли и на другой день.

— Опять этот пляж! — стонала Фроссо во время очередной прогулки. — Тоска смертная! — И вдруг, с тоски ли, со злости ли, ущипнула Титину сзади.

— Титина! — удивилась Агни. — Что это у тебя тут?

А там у Титины была голубая бусина.

— А это от дурного глаза.

— От глаза?!

И все покатались со смеху.

— Она арабка! — завизжала Мирто.

И мы стали ее дразнить хором: «Титина, Титина-арабинна...», но делали это вполголоса, чтобы не услышала мадемуазель.

Однако Титина не убегала, не исчезала, и мы гуляли с нею чуть ли не каждый вечер. Однажды мы подобрали в море пустую бутылку, стянули с Титины белые панталончики и стали лупить, конечно несильно, по половинкам ее зада. Но Титина только улыбалась в ответ — улыбалась своей слезливой улыбкой. Тогда мы толкнули ее в волны, но она всплыла! Всплыла-таки, чуть живая от страха, и только моргала своими бездонными, бессмысленными глазами, в которых плескалось синее море. Ее мокрая, усыпанная веснушками кожа переливалась на солнце, как рыба чешуя.

— Тьфу, гадость! — сказала Фроссо и, отойдя в сторону, раскрыла журнал.

Вскоре, однако, мы перестали мучить Титину. Это стало уже скучно. Но странное дело, Титина вдруг привязалась,

и, разумеется, она привязалась ко мне. Как будто ее кто надоумил. Однажды — это было у нас в саду — я показал ей коллекцию насекомых, и тут терпение мое лопнуло. Схватив титинину бусину, я сунул ее ей в нос, в ноздрю, и крикнул сорвавшимся голосом:

— Титина, у тебя такие дырки в носу — все видно! Интересно, где у тебя мозги?! Может, их у тебя нет?

Но Титина только улыбнулась в ответ, а потом весело фыркнула, так что бусина оказалась у нее на ладони.

Я совсем обезумел от ярости и все что-то кричал-кричал...

Пока не подросла тетя Талия.

— Мерзавцы! Мерзавцы! — всплеснула она руками. — И ты мерзавец! Слышишь, Дионис!

Обыкновенно после полудня, когда стояла жара, тетя Талия удалялась в какую-нибудь тихую комнату и там, полулежа на кушетке с морковкой в руке, делала выписки из Рабиндраната Тагора. Теперь ее покой был нарушен.

— Господи, вот наказание! Ведь у меня боли! Голова, конъюнктивит, понимаете!

По случаю конъюнктивита у тети Талии была глазная повязка темно-зеленого, бутылочного цвета, которая придавала ей страшное, трагическое выражение. Тетя Талия напоминала трагедийный персонаж. Не лицо — какая-то маска.

Мне стало не по себе. Титина оторопела.

На другой день, когда я пришел за Титиной, кирия Ставриди отозвала меня в сторону и все объяснила.

— Надо же, тетя Талия. Вот бедняжка! — сокрушалась она. — Ну, ты запомнил? На ночь и утром. Глазные протирания. Разбавлять не надо.

Потом я за ней повторил.

— Что это за бутылка? — удивилась тетя Талия, принимая от меня неожиданный подарок.

Она стояла посредине комнаты в своем любимом лиловом платье с широкими рукавами, из которых выглядывали ее тонкие, музыкальные руки.

— Это от конъюнктивита.

— Так-так. А что это? Что в ней такое?

Тетя Талия проявляла порой удивительное нетерпение

— Это детская водичка... На ночь и утром...

— О-о-о! — застонала тетя Талия, отшвырнув бутылку
Бутылка подпрыгнула на паркете и покатилась.

— Мерзавец, гадкий мальчишка!

— Но ведь, может, это очень *чистый* ребенок,— возразил я.

Но тетя Талия не унималась: очевидно, мой довод показался ей малоубедительным.

После этой истории со злополучным рецептом все отношения с Титиной были порваны. Впрочем, нам бы так не позволили с ней общаться. Дело в том, что были другие истории, одна другой неприличнее и отвратительнее, как говорили тетушки, и эти истории происходили с кем-нибудь из Ставриди чуть ли не постоянно. К примеру как-то середь бела дня на улице Гуссио на кирию Ставриди напал козел и боднул в самое ее заметное место. Потом вскоре произошло нечто — на сей раз в сумерках — на нашей улице, когда Афродита и Деспо, те самые, что приехали с Лесбоса, возвращались домой. Они буквально ворвались в дом, никак не могли отдышаться хихикали. Их было слышно, еще когда они закрывали калитку. «Что, что случилось, Афродита, Деспо?» — закричали мы, сбегавшись на шум. Оказалось — все те же Ставриди. Показали им нечто такое... Такое! Что именно, нам не сказали. Долго еще потом мы думали и терялись в догадках: что могли показать нашим горничным в сумерках эти Ставриди?! Впрочем, Фроссо еще в тот день уверяла нас, что она знает.

Как бы то ни было, Титина была в опале. Мы потеряли ее из виду, и лишь из окна, с высоты балкона можно было порой убедиться в ее существовании.

Однажды я встретил Титину на улице. Вышел из бакалеи — и вдруг навстречу она.

— Так грустно, Дионис. Я любила тебя. Я все время о тебе думала.

Что тут со мною стало! Я почувствовал дрожь, мурашки по коже, я уж не говорю страх. Не выпуская из рук кулек с рафинадом, за которым послала меня кирия Смарагда, я бросился наутек, опрометью, без оглядки и так с кульком и ворвался в гостиную.

Но лицо Титины преследовало меня неотступно. Оно было всюду, всюду! Ужасающе длинное, бледное, оно маячило в окнах, всплывало в сумерках и особенно в те часы, когда с пальм сыпались финики и на улице сонно ревел проходивший мимо верблюд.

Потом события так завертелись, что, право, не помню теперь, когда Ставриди уехали. Мы тоже собирались в дорогу. Однажды вечером, приподняв голову от счетов и бумаг, тетя Урания неожиданно объявила, что пора серьезно подумать о нашем образовании. Фройляйн Хофман заплакала. Мы пошли собирать вещи.

И все же я улучил минуту, спросил:

— Ставриди уехали? Что-то ставни у них на окнах.

— Вполне возможно, — сказала тетя Урания, а тетя Талия тут же заметила, что Ставриди еще ни разу не засиживались на одном месте.

Так или иначе, нам было не до Ставриди. Все завертелось. События сменялись событиями, лица — лицами. А главное, мы поселились в Афинах. Глотая молочно-белый, сухой и безжалостный воздух улиц, я скоро понял, что я собой представляю. Да, добросовестный, честный, но робок, и если и крепок, то крепок задним умом. Время неумолимо бежало, губы покрывались пушком. Нам было уже неловко ходить в неприглядных туниках, которые из экономии, пытаясь тем самым охладить наше тщеславие, нас заставляла надевать тетя Урания.

Большинство моих сверстников уже думали о веселых домах. Некоторые там бывали: им помогали усы. А я — я бродил по улицам, бродил как во сне, как потерянный. Однажды я написал мелком на стене крупными буквами:

Я ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ

И побрел домой. И лег на пустую постель. И слушал ночь ную тьму. Но в ночи было пусто, и глухо, и безответно.

А потом наступили времена Катастрофы. Узнав о ней мы немедленно переселились в пригород. Нужно срочно собрать средства и помочь этим бедным беженцам, говорила тетя Урания. Действительно, из Анатолии нахлынули беженцы. Их становилось все больше и больше. Теперь уже прямо на полу, на кафеле, спали вповалку в комнате для прислуги спали тетя Елена и дядя Константин, а молодых горничных больше не было: они были уволены. «Несите, несите всё», — трубным голосом взывала тетя Урания, стоя посредине комнаты с охапкой всевозможного старья, туник, платьев. У маленькой Мирто брызнули слезы. Она взяла молоток, разбила копилку и стала тайком покупать мороженое.

Чего только не было в эту смутную пору! Всюду чувствовались перемены. Мой брат Алеко, простившись с мечтами о звездной карьере, уехал в Каир и стал коммерсантом. Сестра Фроссо больше уже не влюблялась. Она вернулась в Александрию попытать семейного счастья и все никак не могла сделать выбор. От нее то и дело приходили письма, от которых мне делалось грустно, и я с тоской вспоминал наш тенистый сад и далекие мокрые фикусы. Однажды я написал стихотворение, но показывать его никому не стал, а листок разорвал в клочья. Дома было временами тоскливо, и тогда Агни садилась за фортепьяно, ударяла обеими руками по клавишам, начинала петь *Un baiser, un baiser, pas sur la bouche...**, а в это время тетушки разъезжали с визитами.

Наконец, было вынесено решение — этим у нас занималась исключительно тетя Урания: Дионис, хотя и не простой, но все же хороший, надежный мальчик, должен немедленно бросить школу и поступить в Банк. К дяде Стефо. Так будет разумнее и экономнее, поскольку можно будет помогать бедным беженцам, несчастным жертвам турецкого произвола. Это решение поначалу обрадовало

* поцелуй, поцелуй, но не в губы... (франц.).

меня, но радость была недолгой. Вскоре я уже писал адреса на каких-то пакетах, конвертах, кругом пылились гроссбухи и папки, а дядя Стефо порой вызывал меня к себе в кабинет и трепал за ухо, потому что ему казалось на редкость забавным, что я теперь служу у него в Банке, и ему нравилось меня немножко помучить.

Так обстояли дела.

Вновь пришло лето, полетели пушинки, пылинки — вечное белое, млеющее афинское лето. Пыля тяжелыми башмаками, я шел по улице Стадиу — понуро, в который раз. Отпуск я хотел провести в Пелионе*, но тетя Урания распорядилась иначе. Неужели совести у тебя хватит уехать! Посмотри, как живут беженцы! Они спят на матрасах в передней! Пришлось остаться, и все это было невыносимо. Еще не было и полудня, а пекло так сильно, что одежда моя вся взмокла, прилипла к телу.

И вдруг я услышал голос:

— Дионис! Это ты, Дионис?..

Молодая женщина. Или нет — юное, ослепительное создание. Выпорхнула из-за мраморного столика в кафе под открытым небом.

— О, простите, я, кажется, обозналась. Я думала, вы мой знакомый... Дионис Папапанделидис.

Какой же глупый, должно быть, был у меня в ту минуту вид! Передо мной почти дама — молодая, холодная, ослепительная. А я молчу, и обоим неловко. Слегка закусил губы в помаде, проверила, верно, нет ли пятен мороженого. Смотрю на абрис лица и вдруг узнаю... Неужели? Там — в глубине, далеко — знакомое бледное продолговатое личико, Александрия... Титина?!

Должно быть, я так удивился — с таким выражением! — что сразу — улыбка, восторг, крики, смех. Она обнимала меня, целовала в нос, в губы — в жалкий, цыплячий пушок злосчастных усов. Средь бела дня! На улице Стадиу! Никогда я еще не чувствовал себя так глупо.

* Горное селение на полуострове Магнесия, Фесалия, ныне Петрас.

— Пойдем,— наконец сказала Титина.— Надо съесть мороженое. Я уже съела несколько штук. Давай еще. Тут у Янаки оно чудо.

Я сел за столик рядом с Титиной, но, видимо, нервничал: денег у меня было мало, и я боялся, как бы мне не пришлось расплачиваться и за те «несколько штук». Титина тотчас же меня поняла и сказала:

— Дионис, милый, я угощаю.

И все это так обрадованно, так просто, ласково. Но самое удивительное было другое: пока Титина, раскрыв сумочку, вытаскивала по очереди сигарету, изящную, маленькую английскую зажигалку, и щелкала, и прикуривала, и ворох кредиток — какой-то немыслимый шар — летел нанароком на мраморный столик, я превратился в полнейшего идиота, в какой-то комок плоти, в нелепое и неуклюжее существо, которым когда-то была Титина.

— Ну расскажи что-нибудь. Как ты живешь, рассказывай,— сказала она, поднесла сигарету к губам — губы у нее были полные,— просто и ловко затянулась дымом.

А я — мне нечего было рассказывать.

— Расскажи лучше, как ты. Ты живешь в Афинах?

— О, нет,— мотнула она головой.— Никогда!

Она была как богиня, но шлем ее был открыт*— одни только волосы, иссиня-черные, играющие на солнце.

— Я здесь проездом,— пояснила она.— Это Жан-Луи. Он такой добрый, щедрый.

— Жан-Луи?

— Это мой друг,— вновь пояснила Титина, и губы ее приняли выражение, которое тетушки, будь они здесь, наверняка сочли бы вульгарным.

— А что он, этот твой друг, молодой, старый?

— Так. Средний.

— А мама знает?

— О, мама! Мама так довольна, что все так хорошо устроилось. У нее тоже своя квартира. Знаешь, если уж

* Намек на Афины-Палладу — богиню-девственницу, почитавшуюся как богиня войны и победы, мудрости, знаний, искусств, ремесел.

жить, так жить,— жить, понимаешь. Она так решила.

— А отец?

— Папа само собой, на него всегда можно положиться,— сказала Титина и глубоко вздохнула.

А я— я смотрел на нее и чувствовал отчаянную, наполняющую душу муку. Рядом со мною сидела Титина, такая добрая, близкая, такая открытая, такая мудрая. Я чувствовал, что одежда, приставшая к телу, душит меня.

А Титина все говорила без умолку, и легкие браслеты на ее запястьях в это время дрожали, звенели, звали. И все время глаза ее смотрели то так, то так: то восхищенно, то вскользь, холодно-небрежно. Глаза у нее каким-то особенным образом щурились. Кто знает, быть может, от блеска солнца.

— Скажи, Дионис,— сказала она вдруг, и у меня занялось сердце, когда я увидел нежные, едва заметные волоски на ее руке.— Ты вспоминал меня? Наверно, нет. Я была такая противная — ужас. А ты всегда такой добрый.

Удивительно, но Титина и впрямь верила всему, что говорила. Она посмотрела на меня испытующе острым взглядом, и в глубине ее синих искренних глаз, синих подобно разве синеве залива Сараникос, я увидел... что я увидел там?.. О, нет, она не лгала!

— Ну вот, как всегда, времени ни на что не хватает,— сказала Титина, и голос ее прозвучал грустно и вместе с тем деловито.— Послушай, Дионис, ты свободен? Есть у тебя время, ну, скажем, во второй половине дня? Может, поедем к морю? Так хочется искупаться.

— Но ты забываешь, это же Греция,— недоуменно возразил я.— У нас не принято здесь, чтобы мужчины и женщины плавали вместе. Должно быть, еще не научились.

— Пф! — усмехнулась Титина.— Ну так научатся. Мы же поедем вместе. Если только ты свободен, конечно... Ближе к вечеру.

И сразу время стало для нас игрушкой, и мы заводили, включали его, выключали. О, как мы смеялись,

как веселились, шутили, когда Титина, расплачиваясь за мороженое, вытащила пару скомканных ассигнаций.

— Только сначала у меня встреча.

— Встреча? С кем? — Сердце у меня сжалось.

— А, да так, подруга матери, — улыбнулась Титина. — Одна старушка — на носу бородавка.

Сердце тотчас же отпустило... А дома на обед была юварлакия. Эвридика готовила ее бесподобно, но теперь отчего-то еда была как опилки, не лезла в горло.

— Что ж ты не ешь? Эвридика старалась, готовила. Нехорошо, — то и дело вздыхала тетя Талия.

Я не стал говорить тетушкам, что встретил Титину Ставриди. С их старомодной щепетильностью они бы меня не поняли. Но мне страшно хотелось сказать им. К тому же предстояло долгое путешествие на автобусе: возможно, денег и на билеты не хватит.

Я встретил ее у входа в отель «Гранд Британь». На мой порыв сесть в автобус Титина ответила: «О, не надо» — и, повернувшись к швейцару, сказала легко и просто: «Вызовите такси». Такси подъехало.

— На то и деньги, чтоб тратить, — пояснила она.

В машине, когда доставались из сумочки по очереди сигарета, блестящая маленькая английская зажигалка, я снова увидел знакомый ворох купюр и несколько успокоился.

Потом я увидел браслет на руке Титины. На сей раз другой, из прозрачных ракушек с чарующим звучным шуршаньем и легких, как грецкие орехи.

— А, это пустяк, — сказала Титина. — Мне друг посоветовал, чтобы я положила все драгоценности в сейф, в Лионский кредит. Жан-Луи говорит, так надежней, в Греции может случиться все что угодно.

Я, конечно, сказал, что в Лионском кредите будет гораздо, гораздо надежней.

В такси покачивало, и, когда Титина летела от меня к дверце, я чувствовал упоительную легкость ее тела, легкого, словно этот браслет из ракушек, а Титина меж тем

говорила все в том же духе, просто и деловито, и так всю дорогу. Весь этот блеск незнакомой мне жизни был для нее таким же естественным, как кожа — кожа у нее на руках. На берегу залива, на пляже, на афинском песке Титина предстала передо мной во всем своем божественном великолепии. На ней был купальник, переливающийся перламутром, и мягкая резиновая шапочка. Панцирь и шлем.

— Ну как тебе мой костюм? — спросила она, подведя губы. — Жану-Луи не нравится. Он говорит, ça me donne un air de putain*.

И тотчас вскочила, побежала стремглав к морю, упала на воду, переливаясь чешуйчатыми блестками своего купальника. В воде мне стало несколько легче.

Потом мы плыли в длинных, струистых, серебристо-голубых волнах. Титина плескалась, откинув голову, и на губах ее поблескивали пузырьки. Глаза ее то слипались от влаги, то раскрывались синее моря.

Еще в такси я выбрал эту маленькую, тихую бухту. На пляже никого не было. По берегу вразброс тянулись скалы землисто-бурого цвета. Афинские сосны, заброшенные на песок и камни, упорно противились гибели, склонили над морем корявые ветви, но корни их прочно и цепко держались за землю. Место было довольно пустынное, но по-своему яркое, примечательное, совершенное в своей строгой, простой красоте.

Я надеялся, что нас никто не увидит. Но вот сверху стала спускаться по скалам компания подростков. Среди них я узнал нескольких своих бывших одноклассников и даже соседей по парте. Они расселись кто в чем, губошлепы, и стали бесстыдно смотреть на нас. Послышались всякие комментарии. Один брызнул в нас пригоршнею воды, подождал и опять брызнул.

Но Титина, жмурясь на солнце, словно на замечала.

Глядя на всю эту долговязую стаю, сидевшую на берегу напротив, я почувствовал, что обратной дороги нет. Робость и рыхлость смело как рукой. Голова моя, вмиг

* я в нем похожа на шлюху (франц.).

обретя опору, в мгновение ока пронеслась над морями и материками. Я повзрослел, я окреп, я стал раскован. Оттого ли, что рядом была Титина? Даже усы мои стали пушистее, гуще, блестя на солнце. Во всяком случае, я это почувствовал.

Тем временем несколько моих бывших одноклассников нырнули, подплыли к нам и стали делать в воде всевозможные гадости, хмыкая своими ломкими, полудетскими голосами.

Потом, когда мы стояли в воде у самого берега, коренастый рыжий Сотери Пападопулос предпринял попытку проплыть между ног Титины. И как она ему показала!

— Пошел отсюда, сопливый, грязный мальчишка! — С таким презрением!

И Сотери пошел. И хорошо, что пошел. Когда-то в школе он был сильнее меня.

Потом мы с Титиной сидели под соснами и обсыхали. Она рассказывала. Мелькали названия городов: Довиль-Ле-Туке, Канн. Фешенебельные отели. Я слушал, но уже как-то вскользь — я глядел на нее. Титина казалась мне совершенством. Я сравнивал ее с Агни. Какие у той неуклюжие руки, и эти косицы жидких, вечно мокрых волос... О, никакого сравнения.

Титина достала из сумочки *fruits glacés**.

— Это с Лазурного Берега. Мы были там с Жаном-Луи. На, ешь.

Я взял коробку, раскрыл и предложил ей.

— Не надо, фу. Я уже наелась. Бери ешь. *Fruits glacés*. И я ел — долго ел.

Мы сидели под соснами, долго еще сидели: она, уже остывшая после купания, недостижимая, совершенная, и я — горячий и взмокший. Потом она начала петь — что, уж теперь не припомню. Потом легла на спину, стала смотреть в небо, сквозь ветви прибрежных сосен.

— Посмотри, наши сосенки! Какие они чахлые.

— Они всегда такие.

* засахаренные фрукты (франц.).

— Да, пожалуй, ты прав. Они не чахлые.

Я поднялся наверх, купил *виссинаду* в киоске. Мы пили багряную виссинаду, измазали рот, губы. Там над морем, над заливом Сараникос, тоже было багряно, потом багрово. На песке было жестко и горячо. Я чувствовал его всем телом. Кажется, в это время прошел старик с аккордеоном. Послышалось что-то нежное — словно лесные голуби, — настойчивое и протяжное. В отличие от тех мальчишек, старик на нас не смотрел. Он шел, играл... Я думаю, он был слепой. Быть может.

«О, Титина, Титина!»

Я смотрел на нее, и отчаяние вырывалось из горла.

Когда Титина повернулась ко мне лицом, было уже темно, почти темно. Я видел в сумерках ветку, у тонкой ветки — ее лицо, вернее, щека. Титина глядела в мои глаза пытливо и недоуменно.

— Маленький мой, Дионис, что ж ты боишься — не бойся.

И я уже не боялся. И когда я обнял ее на песке, мои руки стали как змеи, морские змеи. Перламутрово-блестящий купальник, тот, что так не любил Жан-Луи, был сорван разом, одним «умелым» прикосновением, и в руках моих билось и трепетало то, что все уплывало весь день, когда мы купались. Не огромное — маленькое.

— Ой! — чуть ли не в ярости вскрикнула она, когда мы столкнулись зубами и ее зубы клацнули о мои.

А потом Титина была так ласкова, словно ничего и не было. И ее доброта провожала меня в потемки.

— Когда ты уезжаешь? — с трепетом спросил я.

— Послезавтра. Ой, нет, завтра.

— А почему ты сказала *послезавтра*?

— Я забыла, — сказала она просто.

Мой приговор скрепился печатью. Я снова поцеловал ее, впился в ее поблекшие губы, и все звуки моря, звуки Аттики, шумно и грозно накатывались на меня.

— Прощай, Титина! — Это было уже у входа в ее отель.

— До свидания, Дионис. Маленький мой, милый.

Она была так добра, так ласкова.

Но я ничего не сказал ей вслед, потому что уже понимал: это глупо, по-идиотски глупо.

По дороге домой было пыльно, все башмаки у меня разбухли.

Когда я вошел в гостиную, то увидел тетю Каллиопу. Она приехала из Парижа.

— Ну вот и наш Дионис! — вскричала тетя Каллиопа. — Подумать только, почти уже взрослый! Мужчина!

Подошла, обняла торопливо и заговорила о политике.

Мы никогда особенно не любили тетю Каллиопу: она давала нам сочинения и диктанты. Но братья ее, мой дяди, отчего-то любили свою сестру и постоянно спорили с ней о политике, обсуждая какой-нибудь скучный политический вопрос. Спорили до утра, до умопомрачения.

— Нет, Катастрофа, — кричала тетя Каллиопа, и голос ее достиг пределов возможного, — Катастрофа — это результат политической близорукости, аполитичности масс в одной из самых отсталых стран мира!

Тут в ответ закричал дядя Стефо, вице-президент правления нашего Банка:

— Да вам только волю дай, прогрессистам, интеллигенции, и нам всем, слышите, всем порядочным, честным людям ничего не останется, как только резать глотки перерезать себе горло! — Тут его голос стал просто бычьим.

— Ну при чем тут это! Мы говорим о Катастрофе.

— Это всё генералы! Они виноваты! — визжал дядя Константин.

— Нет! Монархисты! Всё эти монархисты! — размахивала кулаками тетя Каллиопа.

— А что, по-вашему, лучше республиканцы?! Да они выдохлись, выродились, полный тупик.

— Не смейте трогать республиканцев, — бросала вызов всем и каждому тетя Урания.

— Просто монархисты еще себя не проявили как следует.

Тетя Каллиопа сардонически захохотала.

— Уж лучше сам дьявол,— высказал мысль Константин.

Тетя Урания тотчас насупила брови.

— И все же ты должен признать, Коста,— строгим, обычным своим примиренческим голосом проговорила она,— когда проливается кровь, наша бедная Греция возрождается.

Тетя Талия, с тихим, заплаканным лицом, села за фортепьяно и начала играть. Я вспомнил эту мелодию. Сладкая, точно патока, ласково-приторная музыка, извлекаемая наугад тонкими пальцами, потекла, потекла, как клей, слилась с голосами.

А потом опять заговорила тетя Каллиопа:

— Угадайте, кого я видела.

Никто не угадывал.

— Представляете, эту мелочь, помните, Титину Ставриди, о которой вы некогда все так заботились.

— И что же, живет в Афинах? — спросила тетя Урания, хотя могла бы не спрашивать: так ли уж это важно?

— Ошибаетесь. Я видела ее в Париже — сталкивались,— и тетя Каллиопа вдруг усмехнулась.— Нечего сказать, хороша штука. Шлюха!

По ее лицу было видно, что тетя Урания хотела ей что-то возразить и брала все земные грехи на себя, а тетя Талия между тем заиграла еще громче. И она потекла, потекла эта музыка, мимо дядей и дальше, за порог комнаты, хлынула густо по коридорам, проходкам нашего смятого, сжатого в ком жилища, отдававшего запахом сдобного теста, pasta. Несносный Шуман преследовал меня неотвязно, гнал в комнату, дальше и дальше.

А за окном облитая лунным светом застыла, как лед, сирень. И белая, млечная музыка насквозь пропыленной ночи застыла тоже — покрыла льдом сады и парки. Я высунулся из окна, откинул голову и ждал удара — ножом в горло,— но его не случилось, нет... А тетя Талия по-прежнему играла Шумана, и тут я понял, что горло мое, эта жестокая выя, это и есть тот певучий меч, тот застывший удар.

Клэй*

Когда ему было пять лет, мальчишки спрашивали, почему это мама так его назвала. А он не знал. И стал задумываться. Он о многом задумывался, особенно интересно было ободрать кору с дерева или распотрошить цветок, проникнуть в самое сердце тайны. Он и сам любил задавать вопросы, но чаще всего напрасно ожидал ответа — его мать не в силах была прервать ход своих мыслей.

Миссис Скеррит говаривала:

— Если бы твой отец не умер он бы и теперь выносил мусор ведро такое тяжелое каково наклоняться при моей-то толщине да одышке но ты ведь Клэй я знаю поможешь мамочке когда подрастешь и станешь сильным только до этого еще ох как далеко.

Клэй в свою очередь не отвечал ей. Да и что тут скажешь?

Миссис Скеррит говорила:

— Не люблю ни у кого ничего просить но' мало ли конечно я и не жду чтоб мужчины уступали мне место в трамвае пока ноги держат но кое-что должен делать все же мужчина взять например миссис Перл чего ей ждать от мужа-диабетика.

Клэй грезил под звук материнских речей, сверлящих завитушки деревянной резьбы — это было отцовское хобби: всякие там бра, даже стол и дверная притолока украшены были изобильной резьбой. Бывало, голос матери продолжал пилить и сверлить, а Клэй отламывал темные деревянные завитушки и потом прятал их под домом. В результате чего там хранилось полным-полно резных украшений.

Или, мечтая, бродил он по дорожкам сада за сломанной оградой, под башмаками у него хрустели черепки цветочных горшков, по ногам хлестали тугие стебли, тяжкий дух аспарагуса наполнял легкие. Он бесцельно сбегал к гавани, к свежему запаху морского латука, к каменному

* Глина, прах (англ.).

парапету, испещренному белым пометом чаек. Их дом кренился к гавани, но все не падал, потому что однажды какие-то люди пришли и поставили подпорки. Но так или иначе, он стоял накренившись.

Клэй мечтал. Он часто рассматривал родительскую свадебную фотографию. Его детское воображение было приковано к этому групповому снимку. Там был отец — с толстыми, как деревянные чурбаны, ляжками в узких брюках (совсем не похоже на папочку, какого он помнил Неизлечимым, в постели), был там влиятельный мистер Статчберри, были тетя Ада и Нелли Уотсон (которая уже умерла), был еще какой-то человек, который погиб на войне. Но самое главное, там была мамочка — в струящийся шелковый подол ее платья, в застывшие кружева, под которыми таилось его начало, так и тянуло зарыться лицом. И туфелька. Он был зачарован этой беленькой туфлей. Иногда белая ладья ее туфельки отчаливала от берегов застывшего времени в моря его лучистых грез и баюкала их на волнах.

Как-то миссис Скеррит, войдя в комнату, застала его за этим занятием, хотя трудно сказать, заметила ли она его вообще — она смотрела на свое изображение.

— Ах сыночек,— сказала она.— Все на свете так грустно кончается.

Частенько у нее бывал такой вид, будто она вот-вот заплачет, а волосы еще больше становились похожи на растрепанные космы серой пеньки, а на ветру — на развевающуюся рвань трухлявого кухонного полотенца.

В тот день, когда она застала Клэя за созерцанием карточки, он дерзнул спросить у нее, с трудом выдавливая из себя слова:

— Почему это меня так зовут, мама: Клэй — глина, прах?

К этому времени ему было уже семь лет, и мальчишки приставали к нему пуще прежнего, да еще и колотили его (им было страшно, что он не такой, как они).

Мать объяснила:

— Постой-ка сейчас подумаю папа хотел назвать тебя Парсифаль в честь мистера Статчберри но я ни в какую мало ли чего хочется например имя нужно выбрать имя которое было бы действительно его например керамика сказала я так хотела этим заняться если б я нашла какого-нибудь джентльмена или леди разве угадаешь я могла бы стать художницей но не стала потому что не было времени всегда столько дела всегда люди и люди со всеми нужно поговорить потом папа был неизлечимо болен и я не могла заняться керамикой только об этом и думала наверно поэтому так тебя и звать Клэй.

Она пошла на заднее крыльцо и вылила чайник в заросли венерина волоса, буйно разросшегося от влаги.

А мальчишки продолжали колотить Клэя и спрашивать, почему это его так зовут, и он не мог ничего сказать им — что тут скажешь, даже если и знаешь.

Порой дело принимало и вовсе дрянной оборот — как-то раз они погнались за ним, вооружившись старой женской туфлей. Он помчался от них, словно ветер в листве, но в конце концов сдал, они нагнали его на углу Зеленой улицы, на которой он родился и вырос, и каблук этой старой, изношенной туфли запомнился ему навсегда.

В саду покосившегося дома, среди пожелтелого мохнатого аспарагуса за решеткой, зиявшей проломами, он всплакнул о своей горькой участи — быть не как все. Вытер нос и глаза. Солнце, встававшее над гаванью, заливало спокойным светом этот живой зеленый мир, существовавший как бы совсем отдельно от мира свадебной туфельки — ладьи его грез.

Но он не взошел на ее борт. По крайней мере в тот раз. Еще не зажил его собственный каркас.

Однажды Клэю приснился сон, и, проснувшись, он побрел на кухню. Он вовсе не собирался рассказывать сон матери. А когда до него вдруг дошло, что он его рассказывает, было уже поздно. Примерзни его губы накрепко друг к дружке, он бы все равно продолжал говорить.

— Мне снилась лестница,— рассказывал он.— Она вела куда-то вниз...

Мать переворачивала выгнувшиеся ломтики ветчины на сковородке.

— ...в глубь моря,— продолжал Клэй.— Это было так красиво.

Он уже жалел, что рассказывает об этом, но ничего не мог с собой поделать.

— Все такое вытянутое, и все развевается. Волосы и все-все-все. Водоросли. Такие запутанные. Как морской латук. Такие были рыбы, мам, с бородами, и лаяли, ну точно собаки.

Мать складывала на тарелку маленькие ломтики поджаренного хлеба.

— И раковины, мам,— рассказывал Клэй.— В них во всех такой шум, и эхо, эхо, а ты все глубже, глубже. Нежный такой звук. И ничего не нужно. Просто плывешь и плывешь. Вглубь.

Мать стояла спиной, и он увидел — она вся дрожит; его охватил ужас от того, что он творит, рассказывая ей сон. Но ничего нельзя было уже поправить, и мать продолжала поджаривать кусочки ветчины и пробовать их вилкой.

— Когда я опустился на дно, ступеньки кончились, кругом было одно море, только под ногами песок и битые бутылки. Все так серебрилось. Больше ничего не помню. Вот только там еще было, мам...

— Что там еще было? — спросила мать.

Он боялся сказать.

— Облако, мам,— произнес он.— И оно было мертвое.

Тогда миссис Скеррит обернулась — на нее страшно было смотреть. Она стояла с открытым ртом, но сначала из него не вылетало ни звука, Клэй видел только маленький язычок, торчащий в глубине гортани. И вдруг он забился, как трещотка. Она заметалась, закричала.

— Ты решил меня доконать? — кричала миссис Скеррит, мяся кулаками сырое тесто своих щек.— Мне и в

страшном сне не снилось что ко всему прочему я еще юродивым обзаведусь.

Клэй стоял, осыпaeмый ударами ее слов. Будто его хлестали кнутами. Кухни со всей ее утварью как не бывало.

На сковородке подгорала ветчина.

Миссис Скеррит собралась с мыслями, побрызгалась одеколоном и повела Клэя к Мак-Джилливри. Дело шло к вечеру, к тому же была суббота. Дорогой Клэй слышал, как она дышит и как поскрипывает ее корсет. Мак-Джилливри уже закрывался, но все же согласился постричь ее парнишку. Он был добрый человек.

— Нам пожалуйста коротко-коротко,— сказала миссис Скеррит.

Пока парикмахер стриг его, Клэй слышал, как дышит мать, сидя позади него под цветным изображением короля.

Мистер Мак-Джилливри постриг его аккуратно, по обыкновению, и хотел уже в последний раз щелкнуть ножницами, подравнивая челку, как послышался задыхающийся голос миссис Скеррит:

— Это совсем не то мистер Мак-Джилливри совсем не так коротко как я хотела ох милый мой как трудно вам объяснить тут столько всего а я в четырнадцать лет бросила школу.

Мистер Мак-Джилливри засмеялся и сказал:

— Коротко это же не наголо!

— В этом я не разбираюсь,— ответила миссис Скеррит.— Говорю вам коротко-коротко я не из тех кто останавливается на полпути.

Мак-Джилливри тоже тяжело задышал, схватил машинку и выбрил дорожку поперек головы своего клиента. Он брил и брил. Пока совсем не обрил Клэя. Наголо.

— Теперь годится? — спросил он.

— Благодарю вас,— ответила миссис Скеррит.

И они пошли домой. Шаркая ногами по асфальту. У них был тяжелый шаг; у обоих.

Когда они спускались под горку, навстречу им из-за

поворота вынырнул молочный фургон, и миссис Скеррит сказала:

— Иногда приходится твердо держать руль Клэй чтобы защитить родное любимое я это сделала только чтобы спасти тебя от самого себя потому что милый мой страдаешься в жизни если уж начал городить бредни помни ничего не дает быть не как все это только говорит о том что с тобой что-то неладно.

Клэй потрогал щетинку своих стриженных волос.

— И помни прошу тебя,— говорила миссис Скеррит,— все это только потому что мама тебя любит.

Но Клэй теперь уже разуверился в любви, а мальчишки стали лупить его пуще прежнего, потому что остриженный наголо он сделался и вовсе не таким, как все.

— Что это с тобой сделали? — спрашивали мальчишки и дули на его ежик, как на ветрянную мельницу.— Каторжник, гнида! — кричали они и лупили его.

Клэй был очень худ. Кожа да кости. Долговязый, длиннорукий, с зеленоватым оттенком кожи, потому что проводил слишком много времени под сенью листвы. В глазах его отражались мрак, расцвеченный светом уличных фонарей, и пятна мазута на прибрежных водах.

— Клэй ты не скучаешь? — спрашивала миссис Скеррит.

— Нет,— отвечал он.— А что?

— Я думала может быть ты скучаешь тебе нужно бывать где-нибудь встречаться с молодыми людьми твоего возраста познакомиться с хорошей девушкой а то странно как-то.

И она с вытянувшимся подбородком выжидательно смотрела на него.

Клэй только поглаживал свой ежик. Теперь у него повелось частенько ходить к Мак-Джилливри. Выйдя из возраста, когда ломается голос, сверстники оставили его в покое, занятые собственными проблемами. Вступили в свои права прыщи и усы.

Миссис Скеррит плакала, бывало, сидя на прогнившей

веранде и созерцая залив, в котором частенько тонули кошки.

— Клэй милый мой,— говорила она.— Вот умер твой папочка вся ответственность за тебя лежит теперь на мне попрошу-ка мистера Статчберри а ты совсем не знаешь чем бы тебе хотелось заняться?

— Нет,— отвечал Клэй.

— Ах милый мой,— вздыхала она.— Я ли не заслужила послушного сына но хотелось бы чтоб ты хотя бы сам знал что ты любишь.

Клэй и в самом деле не знал, что он любит. Он бы рад считать, что любит маму, хотя, возможно, он любил отца И он пытался припомнить его, но вспоминались только холодная желтоватая кожа и запах постели больного. Когда ему приходилось подойти к отцу, Неизлечимому лежащему больному, душа его будто с колокольни падала.

Как-то раз, дело было вечером, мама прижала его голову к переднику — и, наверно, исколола руки об его щетину.

— Ты не мой сын,— скрежетнула она,— иначе ты бы так себя не вел.

Но он не мог, не хотел быть другим. К тому же по временам у него часто кружилась голова от быстрого роста.

— А как? — недовольно спрашивал он.

Но она не объясняла. Только отстраняла от себя его долговязую плоть.

— Дело это непростое,— сказала она,— попрошу мистера Статчберри пусть придумает как нам быть.

Мистер Статчберри был таким влиятельным, к тому же он дружил с Хербом Скерритом до гробовой доски. Миссис Скеррит знала, что он занимает какой-то пост в Отделе Образования, и если она и не очень-то вдавалась в подробности, то лишь потому, что считала это не столь уж важным.

Она купила бараний бок и пригласила мистера Статчберри.

— Не знаю что делать с Клэем,— сказала она.— Вы же знаете я вдова и вы друг его отца.

Мистер Статчберри подергал ус.

— Придет время, поглядим,— сказал он.

И отер с губ желтоватый жир не очень-то нежной барыни.

Когда пришло время, мистер Статчберри сочинил письмо своему приятелю из таможенно-акцизной палаты.

«Дорогой Арчи,— писал он,— хочу тебе отрекомендовать сына одного своего старого друга, Херба Скеррита. Он много лет проработал в трамвайном управлении, умер при трагических обстоятельствах, а именно — от рака...

(Клэй, который, конечно же, прочитал рекомендательное письмо, был поражен этим словом, которое мать не позволяла произносить в доме ни под каким видом.)

...Сердце и долг велят мне позаботиться о вышеупомянутом юноше. Короче говоря, ты меня весьма обяжешь, изыскав возможность взять его к себе «под крыло»,— я не жду чудес от молодого Скеррита, но, по-моему, он обыкновенный порядочный малый. Да чудеса тут вовсе и ни к чему, во всяком случае, на подобной службе. Это то надежное среднее звено, на котором держится жизнь. Не стану распространяться, салям!»

Машинистку, которой мистер Статчберри диктовал письмо, позвали в этот момент к начальству мистера Статчберри, в результате чего он забыл присовокупить, как намеревался: «Нижайший поклон миссис Арчболд». Даже влиятельным людям приходится смотреть себе под ноги.

Однако Клэй Скеррит все же был принят на таможду, поскольку мистер Арчболд не мог отказать мистеру Статчберри в любезности, о которой тот просил. Итак, каждое утро Клэй в строгом темном костюме, купленном для этой цели матерью, переправлялся на пароме в таможду. Его тонкие, длинные пальцы приучились быстро перебирать квитанции. Он аккуратно раскладывал входящие и исходящие, обработав их. Со временем для него стало

самым обычным делом выписывать химическим карандашом под копиру копии, копии, копии.

Клэй не изъявлял недовольства: если он и чувствовал себя парией, то ведь он знал и худшие дни.

Однако мать нет-нет да и проливала свет на его неблагополучие.

Как-то вечером, когда засорилась раковина, она сказала ему:

— Вот умру будешь вспоминать свою никудышную мать только пойми я потому забываю про раковину когда мою посуду что все думаю думаю думаю о тебе хорошо бы попалась какая-нибудь практичная девушка все бы поправила что твоей маме не удалось я всегда хотела как лучше конечно я тебя не принуждаю только советую время ведь не ждет.

Ее сын не мог себе этого представить и не обращал внимания на ее слова. Он всматривался в свадебную фотографию. Фигуры на ней, такие живые, казалось, таили в себе нечто внятное лишь ему, и белая ладья свадебной туфли все манила в открытое море, словно судьба подавала знак.

Мать же продолжала втуне произносить тирады по поводу уходящей жизни. Однажды она вторглась в его мир, велев ему сходить в химчистку.

— Милый мой снеси-ка мой серый костюм на нем пятно от томатного соуса жутко смотреть когда такая толстая да еще пятно.

Клэй отправился исполнять, что было велено. Или, возможно, это улицы и трамваи двинулись мимо него, дабы он исполнил поручение матери. День был солнечный, наполненный металлическим лязгом. Дома ни от кого не таились, жизнь в них распахнута была настежь. В одном из окон женщина рассматривала подмышку. Это рассмешило Клэя.

Когда он вошел в химчистку, одна из приемщиц, отведя в сторону руку с сигаретой, говорила другой, молоденькой:

— Я покидаю тебя, Мадж. Сматываю удочки. Нужно

срочно бежать домой и сбросить туфли, будь они прокляты. Ноги огнем горят.

Клэя все продолжало смешить.

Молоденькая приемщица, окруженная благоуханием химчистки, опустила глаза на стопку коричневой оберточной бумаги. У нее у самой была чистая-пречистая бледная пористая кожа.

— Что случилось? — спросила она, поскольку клиент все смеялся и смеялся. Спросила очень вежливо и спокойно.

— Ничего, — ответил он и добавил: — По-моему, вы совсем как моя мать.

В каком-то смысле это было не так, потому что девушка была плоскоськая и бесцветная, а его огромная, тучная мать представляла собой по меньшей мере стопудовый оплот серости. Тем не менее что-то побудило Клэя сказать так.

Девушка не ответила. Она опять потупила взор, словно бы он преступил границы. Потом взяла костюм и осмотрела пятна от соуса.

— Завтра будет готово, — сказала она.

— Да ну!

— А что? У нас такой срок.

Каким же ровным и отсутствующим тоном говорила она!

И Клэй сказал, сам не зная почему:

— Вы чем-то расстроены.

А она ответила:

— Да просто раковина засорилась вчера вечером.

Это прозвучало у нее так серенько, и во взгляде ее было столько надежности, неизменности. Он сразу понял, что был прав, уловив в этой девушке из химчистки что-то от своей матери: зерно надежности. Клэй заволновался. Потому что он не верил, будто все преходяще, как ни стремилась убедить его в этом мать, не верил, даже когда следил за комьями земли, падающими на крышку гроба. Не верил, покуда он был он.

— Значит, завтра, — сказал Клэй.

Это прозвучало так, словно завтра было уже сегодня.

Клэй сразу же привязался к Мадж, как привязан был к матери, только по-другому. Взявшись за руки, они бродили по мертвой траве в парке или разглядывали зверей в клетках. Они жили уже одной жизнью — молчание их принадлежало уже им обоим. У них были одинаково потные ладони. А если Мадж и говорила что-нибудь, отвечать не было ни малейшей необходимости — это всегда было что-нибудь незначительное, цвета опилок.

Она говорила, например:

— Когда у меня будет свой дом, я ничего не буду делать по пятницам. Всею свое место и время. Постели тоже.

Или она говорила:

— Я люблю, чтобы все было красиво.

Или говорила:

— Замужество вещь серьезная.

Клэй, который ничего еще не сказал матери, уже и сам начал понимать, насколько серьезная.

Наконец он все-таки рассказал матери, она как раз вытирала апостольские ложки и уронила одну из них, он же предоставил ей самой поднять ее с пола, считая, что нагнуться лишний раз в порядке лечебной гимнастики для нее только полезно.

— Я очень рада Клэй,— вся красная, сказала она, помолчав.— Просто не дождусь когда увижу эту милую девушку нам надо все обсудить я думаю мы поладим совершенно не вижу почему бы молодым не попробовать жить с матерью если в доме хватает места чаще всего трения возникают не из-за характера все зависит от площади.

Миссис Скеррит всегда считала себя очень разумной.

— И Мадж так на тебя похожа, мам.

— Как это?

Он никак не мог объяснить ей того главного, что было для него столь важно, что побуждало его к женитьбе — то есть про неизменность. Не мог объяснить, что побуждало его к женитьбе, потому что и сам еще этого не знал.

— Ну что ж чем скорее мы познакомимся тем скорее мы это выясним,— только и оставалось сказать миссис Скеррит.

И Клэй привел Мадж. Руки у них в тот день были еще более потными, чем обычно. Дом на подпорках утопал в темной тени ветвей.

Миссис Скеррит отворила дверь.

— Ах ты с ней,— сказала она.— Только не сейчас, не сейчас.

Клэй сказал Мадж, чтобы она уходила, по крайней мере сейчас, что он придет к ней, и вслед за матерью вошел в дом.

Миссис Скеррит так больше и не встретилась с Мадж, разве что в зеркале, глядя в которое убеждалась с замешательством, что ничего незыблемого, неизменного не существует.

Вскоре она умерла. Сказали, от сердца.

И Клэй привел Мадж в дом, где родился и вырос. Они никуда не поехали в свой медовый месяц, поскольку замужество, как говорила Мадж, вещь серьезная. Клэй надеялся, что сумеет справиться с тем, что положено делать в постели отца с матерью. Затерянные в этом обширном владенье со скомканными простынями, Клэй и Мадж слушали друг друга.

И все было хорошо. Клэй продолжал каждый день ходить на таможню. Бывало, ущипнет Мадж за ухо.

Мадж приняла как есть дом, полный резьбы, вещи, накопленные свекровью, включая полосатые салфеточки; однажды в шкафу она нашла даже чучело канарейки. Она не высказывалась по этому поводу, просто принимала все как есть. Только одной-единственной вещи в доме она не приняла. Клэй в конце концов спросил:

— Куда делась фотография?

— Она в шкафу,— ответила Мадж.

Он вытащил родительскую свадебную фотографию и поставил ее на прежнее место, на украшенный резьбой стол. Она была рада, что он хотя бы не стал спрашивать,

почему она убрала фотографию, а то она не знала бы, что и сказать. Куда как плохо, если не знаешь, чего ждать от мужа, но когда и сама себя не понимаешь — это уж совсем никуда.

Все это время она видела, что с Клэем что-то творится. Начать с того, что у него отросли волосы. Длинные кудряшки, как перья, торчали у него за ушами. Она видела, что он и сам все не свыкнется с шелковистой дерзостью своих волос, которые раньше торчали ежиком.

— Пожалуйста, мистер Мак-Джилливри, ниже ушей, — просил Клэй.

Мак-Джилливри, который был уже стар, но по-прежнему добр, воздерживался от каких бы то ни было комментариев.

Таможенные чиновники воздерживались тоже — что было более чем странно. Даже девицы, которые поначалу готовы были подхихикнуть, испытывали теперь какой-то непонятный трепет перед ним.

И только когда у мистера Скеррита волосы стали до плеч, мистер Арчболд вызвал его к себе.

— Это что, так уж необходимо, мистер Скеррит? — осведомился патрон в бастионе своего кабинета.

— Да, — ответил Клэй.

Он выжидательно смотрел на патрона.

И его отпустили.

Его жена Мадж решила ничему не удивляться. Это было единственное, что ей оставалось. Даже когда раздавался треск деревянной резьбы, она предпочитала этого не слышать. Даже когда из подвесных цветочниц торчали волосы вместо папоротника, она предпочитала этого не видеть. Котлетки, которые она ставила перед мужем, всегда располагались на тарелке исключительно прелестно. Это ли не крайность?

Как-то Клэй вошел из сада, где ползали улитки и пахло морем, в комнату. Постоял перед свадебной фотографией родителей. Большая туфля, ладья или, может быть, мост, видна была отчетливо, как никогда. Огля-

дываясь на прошлое, он, казалось, припомнил, что тут таятся истоки его стихов, или романа, извержения лавы, которой суждено затопить всю его жизнь.

Мадж отметила, что это был тот вечер, с которого он заперся у себя.

Она лежала в постели и звала его:

— Клэй, ты собираешься идти спать?

Или она вздрагивала, просыпаясь в предутренние часы, когда простыни сереют в сумраке, когда воздух дрожит от угрожающего звонка будильника, и разжимала рот, чтобы произнести:

— Клэй, выключи будильник!

Начиная с этих пор, его тело, казалось, никогда уже не пребывало в постели достаточно долго, чтобы там сохранялось его тепло. Впрочем, на что Мадж было жаловаться? Близок с нею он бывал раза два в году, не больше, на рождество и на пасху, хотя на пасху этого могло и не случаться — все силы отнимала Королевская сельскохозяйственная выставка.

Но дело было не в этом. А в тех белых листках бумаги, которые исписывал теперь Клэй за дверью маленькой комнаты, и его жена уже с трудом припоминала, как эта комнатка выглядит, так давно она туда не заходила. Одним из благоприобретенных миссис Мадж Скеррит качеств было уважение к праву другого на собственный мир.

Итак, Клэй писал. Поначалу он сосредоточился на неживых предметах, живущих своей таинственной жизнью. Годы с тех пор как он начал писать, он посвятил этому.

«...стол стоит и стоит его ножки так устойчивы конечно если взять топор и полоснуть по плоти тогда кричат убийца убийца но ничто не омрачает путешествий детства по застывшим волнам лесных просторов безо всяких кораблей струящиеся шелковые подола мчат их из пункта А в пункт В в воображении пловца»

Долгое время он не сосредоточивал внимания на человеческих существах, хотя они всю жизнь его окружали. Да и на этот раз не то чтобы он сосредоточил внимание на живом существе — оно само вторглось к нему. К тому же Лав была совсем другое, чем все эти люди, по крайней мере сначала он по-иному ощущал ее присутствие, она была как бы его принадлежностью.

В ту ночь Клэя одолевала икота, он был очень взбудоражен, нервен. Громовые раскаты этой икоты заглушали тусклый голос его жены Мадж:

— Клэй, ты собираешься идти спать?

Лав по сравнению с нею была свежеветвящейся, зеленовато-желтой, словно поспевающая груша.

«Лав, Лав, Лав», — писал он на листе бумаги, как бы для пробы.

Ему это очень понравилось, он удивился, как это раньше не пришло ему в голову. Он способен был просто сидеть и писать ее имя, тем не менее Лав делалась все более осязаемой.

Вначале Лав возникала за стеклом, покрытая дрожащими капельками испарений, как на папоротнике в жарких комнатах, глаза у нее были цвета папоротника, тронутого коричневкой, и очень походили на его собственные, хотя едва ли он подозревал об этом. В первые встречи он чувствовал не более чем легкое колыхание волос, когда она кивала головой, подрагивание кожи, которой он словно бы касался. Она поднималась по ступенькам старой каменной лестницы, задерживаясь на замшелом пороге. Иногда листья-монстры обращали ее в рассеянный свет. И только он один знал, что нужно сделать, чтобы она появилась снова. Бывало, ее губы оказывались совсем рядом, когда он лежал в саду, на сдобренной высохшим навозом земле, среди запаха гниения. Она не была реальной, не могла быть реальной. Нет. Ему еще предстояло ее сотворить. Но была одна вещь, которая настораживала. Физические проявления.

Мадж говорила:

— У меня руки потрескались, нужно спросить мистера

Тогда. Проще поговорить с аптекарем, врачи слишком заняты, чтобы уделить тебе внимание.

И у Лав выступила экзема. Клэй вначале смотреть на нее не мог. Как она сидела за маленьким столиком и принимала пятнадцать разных лекарств, пожирала таблетки, как поросенок, и хотя Лав улыбалась, все равно это было грустно. Болячки стали покрываться струпьями. Он не мог себя заставить подойти к ней. Да и запах. Множество ночей Клэй не мог написать ни слова. Или, точнее, несколько ночей подряд он писал:

«...засыхающая умирающая...»

Прислушиваясь, он слышал шелест пилюль Лав, колыхание единственной в саду бесплодной финиковой пальмы, скрип кровати, в которой ворочалась Мадж.

И тогда его охватывал панический страх, что дом на подпорках вот-вот рухнет. Он такой гнилой, такой иссохший. Но Клэй не мог быстро вскочить из-за стола — не то разлетятся листы бумаги. Плеща по полу спадающими шлепанцами, он плыл к двери.

Но подойти к ней не мог, потому что Лав, тут только он это и обнаруживал, поворачивала в двери ключ и прятала его на груди.

Она подошла и сказала:

— Фигу тебе!

И села к нему на колени, а он свободной рукой начал снова писать, впервые после многих бесплодных ночей:

«Наконец-то жизнь больше не сковородка с гренками и пошла как по маслу».

— Ура! — воскликнула Лав. — Что значит образованный парнишка! Честное слово, Клэй, писать, должно быть, очень-очень приятно, особенно когда только одна рука занята.

Она смеялась и смеялась. Когда его одолевали сомнения. Неужели все другие, кроме тебя самого, на одно лицо? Ему хотелось пойти взглянуть на свадебную фотографию и проверить, но эта темень, эта лестница! Слышно было только, как во сне дышит с присвистом Мадж. Конечно же, Мадж сказала за завтраком:

— Все одно. Что б ни твердил тебе торговец, все только чтобы сбыть свой товар.

Но Лав сказала:

— Большая разница, Клэй, как между апельсином и гранатом. А ты и вовсе не такой, как все. Уж я-то лизнула сливок твоей гениальности.

Она действительно порой была словно кошечка, свернувшаяся в клубок у него на коленях, но притом появлялась и исчезала мгновенно, как открывается и закрывается складной ножик.

— Так бы и съела тебя, — продолжала она, обнажив свои острые зубки, а он-то думал, что они у нее широкие и редкие, как у матери или Мадж.

Хотя он и был напуган, правой свободной рукой он написал:

«Никому кроме себя самого не доверю опасной бритвы...»

Лав заглянула в написанное.

— Револьвера, — сказала она. — Я — это револьвер.

Он забыл о ней и продолжал писать, что надлежало:

«...Лав сидит у меня на коленях пахнет надкушенной морковкой...»

— Кусни-кусни-кусни его за палец! — сказала Лав. — А ну-ка, хоть что-нибудь на букву «ка»!

— А-а-а! — заплакала «ка», — д-д-дорогая, д-д-добрая Лав!

— Это еще откуда тут взялась «дэ»? — воскликнула Лав.

— Никакой «дэ» нет и в помине, она еще не родилась, — ответил Клэй. — Можешь быть уверена, ее и не будет. Вот «а», так та спит. Но я не «а», увь, — вздохнул он.

Ему вдруг захотелось быть «а».

Он увидел, что он с Лав с глазу на глаз, даже ресницы их сомкнулись, объединившись против переполняющей сердце печали. И они излились друг в друга.

Когда Клэй заканчивал свои бдения, глубокой ночью, он переживал в своей одинокой комнатушке великую боль, потому что Лав улетучивалась, и только чернила на пальцах напоминали о том, что она здесь была.

Ему не оставалось ничего другого, как идти к Мадж, на родительское ложе, в неуверенности, что он поднимется с него на другое утро. Ему было холодно-холодно.

Мадж повернулась к нему и сказала:

— Клэй, я поругалась с мистером Тезорьеро из-за турнепса. Сказала ему: как вы можете рассчитывать, что у вас будут покупать такие дохлые овощи.

Но Клэй уже спал; в то утро он и в самом деле, впервые за много лет, не поднялся с постели, когда по дому разнеслись металлические трели будильника.

Клэй Скеррит продолжал ходить на таможню. К нему уже там привыкли, привыкли даже к его длинным патлам.

Когда Клэю вздумалось как-то раз навеститься к мистеру Мак-Джилливри, его встретил там какой-то молоденький итальяшка:

— Нет его! Нет! Мак-Джилливри помер. Когда ж это будет-то? Лет пять назад. Или шесть.

И Клэй ушел.

То, что это должно было когда-нибудь случиться с Мак-Джилливри, вполне естественно. Неестественно было все вокруг. Эти притворщики-дома. Этот вспученный асфальт.

И он увидел тонкий каблучок, застрявший в трещине, который пытались выдернуть. Увидел обладательницу. Увидел. Увидел.

Она обернулась и сказала:

— Да, хорошо вам. На низких каблуках. Проваливай. И продолжала выдергивать каблук.

— Но, Лав! — Он протянул к ней руки.

На ней был свитер из медовых сот.

— Ну! — сказала она и рассмеялась.

— Значит, ты так вот?

— Да, вот так!

У него дрожали руки, ее можно было ухватить за серенький цвета овсянки свитер.

— Вот еще не хватало стоять тут болтать посреди Воен-

ной Дороги с каким-то патлатым кретином. Хотя бы даже и с тобой!

— Давай говорить разумно!

— Что значит разумно?

Он не мог объяснить ей этого. Как если б она спросила, что такое любовь.

— Ты что, знать меня не желаешь? — спросил Клэй.

— Я тебя знаю, — ответила она с той безразличной точностью, с какой катер пришвартовывает к причалу. — Мне надо идти.

И продолжала крутить каблук.

— Я ведь шел за чем-то, — припомнил Клэй. — Что же это такое было? Может, семечки для попугая?

— Может, моя тетка Фанни?

Она выдернула, наконец, каблук, асфальт треснул и осел ровными шуршащими клочьями черной бумаги.

Если б только он мог объяснить, что любовь нельзя объяснить.

Женщины сновали вокруг, в пальцы их впивались перстни и ручки тяжелых сумок. Одна вела на поводке овчарку с корзинкой в зубах, не ведая хлопот.

Было субботнее утро. Клэй пошел домой.

Вечером после ужина, состоявшего из поджаренных макарон, по причине того, что они все еще выплачивали «за технику», Мадж сказала:

— Клэй, я видела сон...

— Не надо! — крикнул Клэй. Куда ему было деться? Теперь уже некуда. Разве что в понедельник на таможду. Хоть бы поскорее туда попасть. Отточить карандаши. Положить перед собой с одной стороны коробочку со скрепками, с другой ластик.

И вот тогда-то и случилось то, чего он боялся.

Лав стала следовать за ним и на таможду.

Никто бы не обратил на это особенного внимания, потому что мало ли женщин приходило ежедневно на таможду вывозить свои вещи. Только ни одна из них не устремлялась так вот прямо к столу мистера Скеррита, ни одна не

вырастала так внезапно перед ним в своем сереньком свитере с крупными ячейками.

Со своими острыми, мелкими, смеющимися зубами.

— Ну что? — сказала она. — Не ожидал?

Это была до такой степени она, Клэй боялся, что она выскользнет из своего свитера. Он сидел, опустив глаза на письмо от Дулей и Манна из агентства по импорту касательно пропавшего «бехштейна».

— Послушай, Лав, только не здесь, — сказал он. — Я тут никак не могу разыскать пианино.

— Пианино? Да мало ли их на свете! Ты не должен отыгрываться за них на мне.

— Может быть, ты и права, — ответил он.

— Права! Даже если и не права. Даже если я вдрызг не права.

Она положила сумочку к нему на стол.

— Если кто тут и будет играть, так это я.

Совершенно явственно из-за угла застекленного кабинета мистера Арчболда выскользнуло старое черное пианино и следом за ним — обтянутый дырявой кожей круглый табуретик, из прорех которого торчала набивка. Лав была довольна. Засмеялась, присела к пианино и стала наигрывать блестящую грустную джазовую мелодию. Она играла и играла. Ее маленькие руки летали и резвились на клавишах. Музыка сочилась из всех щелей старого, изъеденного морем пианино.

Клэй поднял глаза. Мистер Арчболд глядел из-за стекла. Мисс Титмус взяла свое личное полотенце, повозилась с туфлями и отправилась в туалет.

Лав поднялась с табуретика. Она кончила играть. Или нет, не кончила. Она теперь уже барабанила задом по грязным, вздутым клавишам просоленного старого фоно.

— Вот так вот! — крикнула она.

Потом подошла и уселась на краешек его стола. Необычайно гибкая. Бурно дыша. Невозможно было не заметить подмигнувших ему застежек на чулках.

Кое-кто из сослуживцев начал уже обращать внимание, с

отчаянием увидел Клэй сквозь завесу волос.

И он проговорил:

— Знаешь, Лав, после подобной сцены я вряд ли удержусь на службе. А как жить без жалованья? И о Мадж надо подумать. Я имею в виду, кроме денег, важен еще и престиж. Нам придется сидеть на хлебе с чаем.

— ХА-ХА-ХА,— расхохоталась Лав.

Но ему во что бы то ни стало нужно было не сдаваться, не столько ради себя самого, сколько ради общественного порядка, ради чести учреждения. Он должен был постоять за скрепки.

Почти все сослуживцы всё видели, но у них достало такта не высказываться вслух о столь деликатном деле.

Спустя некоторое время мисс Титмус наклонилась и собрала скрепки, потому что ей жаль было мистера Скеррита.

Он не стал пускаться ни в благодарности, ни в объяснения, просто взял шляпу и, ни на кого не глядя, пошел вон.

Мадж сказала:

— Ты уже пришел? Так рано? Ну, посиди пока на веранде. Я принесу тебе чай с пирогом, думаю, его еще можно есть.

И он сидел на веранде, на которой, бывало, сидела и плакала мать, чувствовал, как южный ветер пробирается под ворот рубашки, слышал, как всплескивает ветвями финиковая пальма. Смотрел на пугливые стайки воробьев.

Мадж сказала:

— Клэй, если не хочешь есть, выпей хотя бы чаю.

Можно, конечно, не обращать внимания, и он пошел к себе в комнату, которая ничуть его не страшила. Она сидела там в кресле в своем сереньком цвета овсянки свитере. Спиной к нему. Так естественно.

— Лав,— сказал Клэй.

Она поднялась к нему навстречу, и он увидел, что она готова погрузиться в море того будущего, западню которого она коварно готовила ему в водах, пахнущих мускатной приправой к взбитому крему душистых туманных утр и исполненных озноба дней и ночей.

Если он не устоит перед нею.

Она была как прибрежная вода — не когда она готова сломить мощью прилива и отлива, а когда ласково подбирается и откатывается блаженной волной, и тыходишь в нее, тихонько поплескивая руками. Так нежна была она.

Мадж постучала в дверь.

— Чай стынет, Клэй! — сказала она.

Да, конечно, и это тоже. Ничего не поделаешь.

— Я приготовила тебе очень вкусные тосты!

Она отошла, но потом вернулась и приложила ухо к трухлявой двери.

— Клэй! Ты пойдешь есть?

Мадж не любила подслушивать — из уважения к праву другого на собственный мир.

— В жизни ты еще так себя не вел, — пробормотала она и в первый раз за все время открыла дверь.

И закричала. Заметалась. Что было на нее не похоже.

Она не видела его лица. Оно было скрыто разметавшимися волосами.

— Вот уж никогда я этого не ждала, — рыдала Мадж.

Она увидела истекающую струйкой крови ножку стола. Совсем тоненькой струйкой.

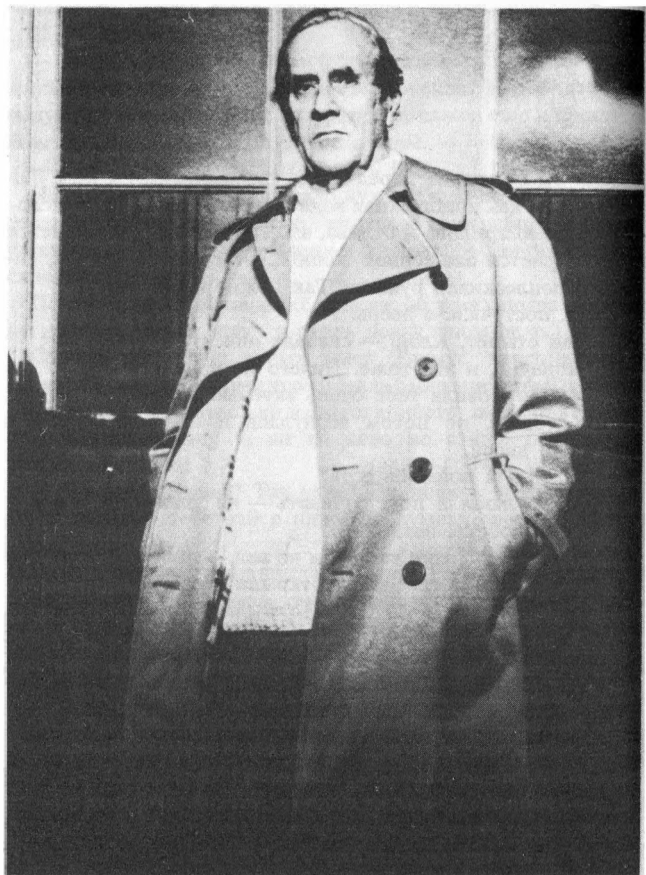
И старую женскую туфлю. Он лежал с белой туфлей в руке.

— Никогда даже не видела этой туфли, — простонала Мадж. — Весь этот хлам, который она тут скопила, все эти ее канарейки, все-все-все, но ведь этой туфли не было!

Клэй лежал с изношенной туфлей в руке.

— Не может такого быть! — рыдала Мадж.

Потому что каждый знает — чего нет, того и быть не может, даже когда оно и есть.



Блики в зеркале.

Автопортрет

(Отрывки)

Был 1926 год. Мне исполнилось четырнадцать, и родители сняли на лето тот самый дом в Фелпеме, в графстве Суссекс. В мягкой зелени окружавшего нас ландшафта моей матери виделось нечто типично английское, полное очарования и куда более притягательное, чем нестерпимый блеск австралийского солнца, жара засухи и постоянный риск наступить на змею. Что до отца, то он видел перед собой лишь пастбища для будущей говядины и баранины. Мне же все здесь сулило покой уединения, залечивающий любые раны, пока сельский говор фелпемцев не заставил меня вспомнить, что я — иностранец.

В неоготическом доме, снятом родителями на каникулы, я чувствовал себя удивительно легко: ничего общего с той жизнью, которая была мне знакома, и в то же время ощущение: здесь я впервые начинаю жить по-настоящему.

«Длинная комната» одним концом выходила в сад, а в другом ее конце стояло большое позолоченное зеркало, все в буграх, щербинках и ямках. Мое отражение колыхалось в водянистой ряби: в зависимости от освещения я то уплывал в далекие глубины стеклянного аквариума, то вдруг снова возникал у его передней стенки и зыбко покачивался, как нить бледно-зеленых водорослей. Люди, считавшие, что знают про меня все, не подозревали о существовании этого странного создания, про которое я и сам-то не знал.

В школе гордость служила мне стеной, за которой я замыкался в себе, зато в каникулы я выбирался из своей кре-

пости. Лондонские улицы вселяли в меня чувство уверенности. Сознание собственной ничтожности позволяло мне растворяться в толпе и плыть по течению. Походка моя порой даже приобретала некоторую чванливость, настолько я упивался своей неприметностью среди этих румяных и сосредоточенных или бледных и рассеянных лиц. Я жадно впитывал в себя высокомерие тех, кому нечего бояться — надменных мужчин в щегольских костюмах и их поджарых, длинноногих женщин во французских шляпках и в мехах, небрежно распахнутых на костлявых ключицах и невзрачных холмиках груди. Холодная отстраненность этих людей и тот факт, что я мог вызывать у них лишь презрение, не только не иссушали, но, напротив, обильно удобряли почву, в которой готовились дать ростки семена провинциального снобизма.

Она берет меня за руку. Белая полотняная перчатка. Мы идем по коричневой сиднейской улице, между тесно стоящими домами, по горячему асфальту. Она — это моя двоюродная бабушка Грейс, приехавшая погостить к нам из Вест-Мейтланда.

Душно, я устал.

— Патрик, ну что же ты? Шагай.— Бабушка Грейс маленькая, добрая, терпеливая.

— Меня зовут Пэдди. Я ведь Пэдди, да?

— Конечно, ты Пэдди. Но *по-настоящему* тебя зовут Патрик.

Имя «Патрик» я знаю, оно написано на ручке моей щетки для волос, я видел, только не думал, что это меня так зовут. Но сейчас, среди этих деревьев с багряными цветами, в этом мире красно-коричневого кирпича, оба моих имени кажутся мне чужими. Я нарочно бью носами ботинок о горячий асфальт и начинаю дуться. Это я умею.

Уже почти под старость я познакомился с поэтом Р. Д. Фицджеральдом, и тот в разговоре припомнил эпизод из моего детства. Брат Фицджеральда много лет назад же-

нился на одной моей дальней родственнице. Поэт случайно встретился с молодоженами в тот день, когда они должны были заехать в гости к моим родителям в наш дом в Рашкаттерс-Бэй. При следующей встрече Фицджеральд поинтересовался, как прошел визит. «Да в общем ничего...— моя родственница вздохнула.— Если б не этот гадкий мальчишка!...»

Радушие нашего дома неизменно очаровывало гостей, но стоило моей сестре, прелестному ребенку с ямочками на щеках, пересказать им, что я про них говорю, как все очарование мигом пропадало. Я был из тех хилых, противных мальчишек, которые всегда видят и знают больше, чем надо. Пока меня не трогали, я держался застенчиво и скромно. Но как только что-то меня задевало, норовил огрызнуться.

Моих родителей очень огорчало, что сын у них такой хрупкий и болезненный. Они прятали меня от сквозняков и кутали в шерсть. Им было необходимо видеть во мне продолжение собственной жизни, а это было возможно лишь при условии, что я унаследую свою долю их солидного скотоводческого хозяйства. Наследнику скотовода положено быть крепким и здоровым, а за жизнь их наследника не поручилась бы ни одна страховая компания. И хотя я, вероятно, догадывался, что мои вялость и одышка дают родителям серьезный повод для беспокойства, лично меня все это нисколько не тревожило. То, что я видел перед собой, то, что происходило вокруг меня, кипело такой полнокровной жизнью, что я просто не мог поверить во всевластность явления, уносящего из этого мира стариков и зверюшек.

Мы горько плакали, хороня наших кошек и собак в утыканых пожухшими ноготками могилках, под крестами из прожилок пальмовых листьев. Когда умирали старики, при детях об этом упоминалось лишь вскользь. Нас это не касалось.

Гораздо страшнее смерти были гроза и гром, Сумасшедшая, а еще та случайно услышанная фраза из разговора двух чужих мам: «...не могу отделаться от ощущения,

что его им подкинули». И даже последовавший за этим смех не объяснил мне, кто же я на самом деле и что за беду я навлек на моих, судя по всему, несчастных родителей.

Страх вспыхивал лишь на миг, как молния в багровых грозовых тучах. Чиркнуло — и нету. Зато были влажный утренний туман, и долгое возвращение домой из купальни, и ждущий на столе арбуз.

Хейли*, чьи стихи были с легкостью преданы забвению, его готический каприз и его безумная жена оставили в моем детстве гораздо более глубокий след, чем гениальный друг Хейли, тот, что некогда жил в этой же деревушке, в домике с соломенной крышей у самой дороги, там, где стремительно срезали угол рейсовые автобусы до Литлхемптона и Богнора. В ту пору имя Блейка если и было знакомо, то мало что говорило бунтующему во мне несостоявшемуся поэту.

Почему «поэту»? Потому что поэзия была тем первым средством, к которому я прибегаю, пытаюсь как-то упорядочить хаос раздирающих меня чувств. Ребенком я читал по большей части стихи. По мнению взрослых, — такого же взгляда придерживалась и моя мать, которая не читала поэзию или читала в девичестве, но не сумела полюбить ее, — стихи развращают детский ум меньше, чем проза. Но то, что к девяти годам я успел проглотить почти всего Шекспира, отнюдь не означает, что я был таким уж занудой-вундеркиндом. Язык Шекспира я понимал хуже, чем большинство взрослых, но меня приводили в восторг кровавые страсти, бесконечные исчезновения и появления героев, сценические ремарки (о, это магическое слово EXEUNT!**).

Довольно долго, даже когда юность была уже далеко позади, дома, любимые места, ландшафт значили в моей жизни

* Хейли — малопримечательный поэт XIX века, известный лишь своей дружбой с Уильямом Блейком. Готический дом, снятый родителями Уайта в Фелпеме, некогда принадлежал Хейли.

** «уходят» (лат.) — сценическая ремарка.

больше, чем люди. По натуре я был ближе к кошкам, чем к собакам. Когда я ребенком учился в Англии, именно воспоминания о ландшафте заставляли меня тосковать по Австралии. И прежде всего та же ностальгия по австралийскому ландшафту потянула меня назад, когда кончилась развязанная Гитлером война. В детстве, в Маунт-Вильсоне и в Рашкаттерс-Бэй, я был готов пожертвовать даже самой крепкой дружбой, едва понимал, что в противном случае утрачу безраздельное владение местами, хранящими мне одному известные, сокровенные тайны — какой-нибудь уголок, где возле переплетения лиан круто спускаются вниз замшелые ступеньки, пухлый ковер кишашего мокрицами перегноя под стволами высоких «сметанниц», или глубокие овраги, наполненные зыбкой, как туман, похрустывающей тишиной, или грозящие взорваться скалы, или пруды, такие холодные, что ребра сжимает, как тисками, и тебе ни вздохнуть, ни охнуть, пока ты висишь в воде, словно дохлая белая лягушка.

На нашей горе взрыв мог грянуть в любую минуту — взрывались скалы, взрывались страсти. Помню, как молнией оторвало от стены телефон, помню всполохи лесного пожара, кудри дыма и языки грязного пламени, ползущие сквозь лохматые заросли. Нередко я швырял камни в людей, потому что их вторжение на мою территорию было посягательством на мой духовный мир. Однажды я поджег дерево, чтобы показать, что не намерен делить мои владенья ни с кем. Много лет спустя я внушил себе, что мои тогдашние поступки не следует объяснять обычным детским эгоизмом, а что бог племени, у которого некогда отняли эту землю, избрал меня, одного из незваных белых пришельцев, орудием своего мщения.

Мое поведение ужасало моих благопристойных родителей, особенно они были возмущены, когда я сбежал из дому и спрятался в лесу, чтобы не идти с ними на рождественскую службу в местную асбестовую церковь. Рут* презирала нашу маунт-вильсонскую церковь исключительно из эстетических

* Рут — мать Патрика Уайта.

соображений: «Жалко, что асбест не горит, а то бы я ее сожгла!» Доживи Рут до сегодняшнего дня, ей, наверно, было бы приятно читать в газетах, что асбест отравляет воздух. Но в рождество 1923 года асбестовая церковь, высящаяся среди древовидных папоротников, тех самых, которые Рут методически выкорчевывала, создавая свой «английский сад», была призвана ею в духовные союзники, чтобы предать сына-вероотступника анафеме.

Те, кому судьба уготовила стать людьми искусства, редко бывают наделены душевным равновесием. Порой их подбрасывает до пьянящих высот, но они тотчас скатываются вниз и страдают от мучительного похмелья на дне болота; а на следующем витке «американских гор» заносчивость сменяется уничтожением. В первую очередь это относится к актерам. Почти в каждом ребенке живет актер. И те, кому дано пронести в себе это состояние души через все детство в юность, а потом, пусть не целиком, и в зрелость, совершают величайшую непристойность, становясь профессионалами. Хотя я прошел этот путь не до конца, то, чем я стал, еще более непристойно — несостоявшийся актер. Лишенный яркой индивидуальности, скованный и зажатый, я избрал литературу, а возможно — скорее всего так оно и есть, — этот выбор предопределен свыше, чтобы перед не верящей своим глазам публикой предстала толпа тех несовместимых персонажей, из которых я состою.

Аристократия — низы; англичане — австралийцы... Обобщать и сопоставлять — заманчивая игра. Почему одна и та же шутка вызывает у англичан смех, а у австралийцев обиду? Возможно, на заре освоения Австралии там жилось слишком сурово и язвительное остроумие было не в чести. Свободные поселенцы были скорее трудолюбивыми праведниками, нежели остроумными шутниками. Даже ирландцы оставили свое остроумие и богатую фантазию в Ирландии, а в Австралию прихватили лишь особый ирландский вариант католицизма, сварливость и любовь к выпивке и скаковым

лошадям. Как мне представляется, до середины двадцатого века австралийский юмор был довольно примитивным. А когда я вернулся в Австралию после второй мировой войны, мне показалось, что юмор там исчез вовсе. Затем, по мере роста городов, а с ними и нового поколения, по мере того как молодежь больше путешествовала и Австралия налаживала более тесное общение с внешним миром, в наши шутки постепенно просачивалась некоторая колкость, они становились тоньше. Но тем не менее сатира по-прежнему настаивала нас, если ее острие было нацелено на «добродушных» австралийцев, которые в большинстве далеко не такие мягкосердечные люди, как принято считать. Все это, впрочем, вполне понятно. Черный юмор и едкая сатира порождаются войнами, крушением идеалов, голодом...

И мне думается, тот вид юмора, который я ценю больше всего, уходит корнями к далеким горьким дням, когда я, жалкий провинциал из колонии, пыжился, выдавая себя за английского школьника, а позже, в тридцатые, ошивался возле театральных подъездов; этот юмор хранит память о лондонских улицах под бомбежками сорокового — сорок первого годов и о долгих месяцах тоски и одиночества в Западной Сахаре, где меня окружали такие же псевдоангличане, как я сам.

Конечно, я тщеславен, правда, уже не в той степени, как раньше, когда еще не потерял зубы и отчасти зрение. И хотя пока что я не потерял рассудок, иногда я чувствую, как он готовится меня покинуть. А вот тщеславие сидит во мне крепко. Мне рассказывали, что, вернувшись домой после первого дня, проведенного в детском саду, я объявил нашей няньке Лиззи: «У меня самый хороший голос в группе». — «Откуда ты знаешь?» — «А я послушал, как поют другие и как я сам пою. У меня голос лучше всех». Я нередко жалею, что подобная убежденность не сопутствовала мне всю жизнь.

Впервые я осознал, что хочу стать писателем, когда рас-

стался с ненавистной английской школой и вернулся наконец в милую моему сердцу Австралию. Нет, дело было, пожалуй, не столько в пробуждении сознания, сколько в насущной необходимости. Меня окружал вакуум, мне было необходимо обрести мир, в котором я мог бы жить напряженной эмоциональной жизнью, как того требовал мой темперамент. И потому за те два года, что я проболтался сначала в Монаро, а потом у Уитикомов* в Уолгете, я написал три бессвязных, незрелых романа, которые, к счастью, не были опубликованы, хотя отказы издательств расстроили и больно задели меня. Отдельные эпизоды из первых двух романов всплыли в моих более поздних работах, а третий лег в основу «Тетушкиной истории».

В тот день, когда Англия объявила войну Гитлеру, я находился в Америке, в штате Мэн, где поджидал в Портленде друзей, обещавших повезти меня к себе в Брайтон. Я приехал в Портленд утром и прямо с вокзала пошел в кино. Показывали «*Волшебника из страны Оз*», американский миф, поверить в который было гораздо легче, чем в реальность ситуации, поймавшей в свои сети не готового к такому повороту событий неприметного молодого человека в английском твидовом спортивном пиджаке. Кто в портлендском кинотеатре слышал хоть что-нибудь про его первый роман**? Найдется ли теперь хоть один человек в мире, который захочет этот роман прочесть? Поступь истории крушила мои надежды на литературный успех, и я с благодарностью позволил «*Волшебнику из страны Оз*» убаюкать меня. Во время войны моя жизнь шла как бы на нескольких разных уровнях. Высоко, под самым куполом, меня раскачивала трапеция, приведенная в движение пророчествами Шпенглера***, повлиявшими на меня в Лондоне в беспечные тридцатые годы; позже, пролетая в словно ожившем со стра-

* Уитикомы — родственники П. Уайта.

** Имеется в виду первый опубликованный роман П. Уайта, «Счастливая долина» (1939).

*** Освальд Шпенглер (1880—1936) — немецкий философ и историк, автор известной работы «Закат Европы».

ниц Жюля Верна грузовом самолете над джунглями и пустынями Африки, я на том же уровне открыл для себя «Бесов» Достоевского. На другом уровне, ниже, были выхолощенная пресса и радиосводки; а совсем внизу манила к себе голливудским многоцветьем Джуди Гарленд, и сквозь рев пронсящих над пустыней немецких самолетов знакомый подрагивающий голос уверял, что мы еще встретимся.

Но все это случилось со мной потом, а пока что я был лишь неприметным молодым человеком, который после конца сеанса вышел из портлендского кинотеатра. Мои друзья, чья болтовня действовала на меня теперь чуть меньше, чем при нашей последней встрече, посадили меня в свою машину и сквозь вечерние сумерки повезли в Брайтон. Раскинувшийся в сосновых лесах у окаймленного летними коттеджами озера, Брайтон был из тех американских городков, где реальность катастрофы сознают, лишь когда над головой срывает крышу, лишь когда сыновья погибают не на чужой войне, а на своей. Спустя несколько дней, заполненных купанием в теплых водах озера и пирушками у костра, где мы лакомились бобами, запеченными в традиционном глиняном горшке, я решил, что должен вернуться в Лондон. Никто не понимал зачем. Да я и не смог бы объяснить. Если о чувстве долга говорить вслух, это всегда звучит очень высокопарно.

Когда я надел военную форму, то по изменившемуся отношению друзей и по взглядам, которые ловил на себе на улицах, понял, что мои акции поднялись. Но меня это скорее смущало, чем ободряло, потому что я знал: под формой я остался тем же, что раньше. Способность любить себя — вот что, вероятно, главное для актера; то, что это же свойство до некоторой степени определяет становление писателя, я понял лишь много позже. В молодости мне всегда бывало трудно примирять искусство с жизнью, и если я все же пытался это делать, то невольно подозревал себя в неискренности.

Заброшенный войной в пыльное захолустье Египта, никому не нужный, никем не замечаемый, я окопался в своем «додже» и с головой ушел в Диккенса — замызганные томики дешевой массовой серии я клал перед собой прямо на руль.

Я читал и читал. Если «Бесов» мне было суждено открыть лишь во время полета на допотопном бомбейском самолете над джунглями и пустынями Центральной Африки, то Диккенс точно так же дожидался своего часа, пока война не закинула меня на Ближний Восток, где те три-четыре дня, что я провел в Тобруке в конце осады, раз и навсегда определили мое отношение к этому писателю. В детстве я не любил и не понимал Диккенса, но тут вдруг пристрастился к нему. Кровоточили и запекались коркой гнойные раны, с неба падали объятые пламенем самолеты, в известняковых карьерах Европы разлагались трупы — на фоне всего этого Диккенс воспринимался мною как теплый пульс растекающегося по жилам здорового дыхания жизни, которая должна продолжаться, противостоя силам разрушения, хотя мощь этих сил признавал и сам Диккенс.

Оторванность от мира, пустыня, подавляемые желания, голос Веры Линн из радиоприемника в палатке КП, письма, которые, может быть, никогда не дойдут по назначению, а если и дойдут, не смогут передать то, что в них вкладывалось, — все это настолько давило на меня, что окружающая действительность начала постепенно сливаться в моем сознании с воспоминаниями о ночах, когда я сидел в своей комнатухе на Эбери-стрит и читал под взрывы падавших на Лондон бомб. Так в бесплодную, на первый взгляд, почву заронилось семя. А проросло оно много лет спустя в общей палате сиднейской больницы, куда меня привезли из Касл-Хилла с сильнейшим приступом астмы. Я был в полубес-сознательном состоянии, и передо мной вдруг возникли люди, бредущие через пустыню. Я даже слышал обрывки их разговоров. Я по очереди был то Фоссом, то его совестью,

Лаурой Тревельян*. Ночью, когда у меня наступил кризис и астма перешла в воспаление легких, я схватил за руку врача, стоявшего у моей постели. Тот отскочил как ошпаренный. Уже поправляясь, но все еще в больнице я набросал контуры будущей книги — теперь я знал, что обязательно напишу ее. Только по возвращении в Австралию, читая школьный учебник, я обратил внимание на сходство Фосса с Лейкхартом**. Это побудило меня углубиться в исследования, и отдельные детали для своей книги я позаимствовал из мемуаров людей, оказавшихся под властью безумного немца во время подлинных экспедиций. Сам же Фосс, в отличие от подлинного Лейкхарта, — дитя египетской пустыни, рожденное моей болезненной фантазией в дни, когда над жизнью каждого из нас довлела еще более зловещая фигура другого безумного немца, тоже одержимого манией величия.

Спорное происхождение Фосса вызвало полемику с защищавшими Лейкхарта учеными мужами и повлекло за собой разноречивые толкования в многочисленных диссертациях. Всем требовались прежде всего факты, а не творческое переосмысление. Со временем меня простили, Фосса канонизировали, и настал мой черед восстать против тех, кто, руководствуясь собственными вкусами, либо незаконно присваивал родившемуся из воображения писателя живому человеку статус музейной мумии, либо наклеивал на него ярлык романтического персонажа из сентиментальной костюмированной феерии. Добрая половина тех, кто хвалил «Фосса», заявляли о своем восторге только потому, что не усматривали никакой связи между собой и описанным в романе обществом девятнадцатого века. По натуре взрослые дети, многие австралийцы яростно сопротивляются, когда их заставляют взглянуть на себя со стороны, в окружении не сомнительного ан-

* Герои романа П. Уайта «Фосс» (1957). Роман рассказывает об экспедиции в дебри австралийского леса, куда горстку исследователей ведет за собой к гибели безумец, одержимый идеей то ли доказать богу, что может его победить, то ли доказать самому себе, что он и есть бог.

** Фридрих Лейкхарт (1813—1848) — прусский исследователь возглавивший несколько экспедиций в леса Австралии. Исчез при невыясненных обстоятельствах во время экспедиции 1848 года.

тиквариата, а пластика и прочего современного мусора, загромождающего задний двор; они избегают заглядывать в глубины подсознательного. И потому они не могут полностью принять все то, что я — пропустив мимо ушей их нападки на «Фосса» — написал про век, в который мы живем. (Если на мой другой, так называемый «исторический», роман, «Пояс стыдливости», австралийцы нападают меньше, это, вероятно, объясняется тем, что образы и сюжет этого романа подводят их к догадке о причинах, сделавших нас тем, что мы есть сегодня.)

Пуританское начало всегда боролось во мне с чувственным. В детстве я стыдился богатства моих родителей. И для меня не были секретом духовные и материальные тяготы тех, кто жил по другую сторону забора, оберегающего жизнь удачливого меньшинства. Поэтому я никогда не получал настоящего удовольствия от всего того, что любой «нормальный» представитель класса, к которому принадлежали мои родители, счел бы причитающимся ему по праву. Слагаемые «благополучия», в том числе и моего собственного, часто вызывали у меня отвращение. Не сомневаюсь, что «нормальные» представители имущего класса с радостью ухватятся за это признание, увидев в нем объяснение того, как им кажется, извращенного взгляда на жизнь, который отражается во всем, что я написал; я же считаю, что шоры, навязываемые системой ценностей австралийских богачей, никогда не дали бы мне увидеть во всей полноте игру многогранного кристалла, имя которому правда жизни.

Пока мы неслись галопом из шестидесятых годов в семидесятые, социальный климат успел измениться: дамы высшего общества начали собственноручно готовить обеды, принимая равных себе по положению или даже стоящих на ступеньку ниже, при условии, что у этих нижестоящих водились деньги. Деньги теперь решали все, вульгарность превратилась в шик, мошенникам, если они были достаточно богаты, сходило с рук что угодно. С ростом инфляции ничего

не стоило купить дворянский титул, и британская монархия, неуклонно опрощаясь, цеплялась за Австралию как за свой последний оплот.

В семидесятые годы я отошел от великосветской жизни. Я уже достаточно изучил нравы современных аристократов. Кое-кто из вхожих в высшие круги нашего состоятельного общества наверняка заявит, что меня отлучили от элиты за измену своему классу. Я никогда не скрывал своей социальной принадлежности. Я говорил об этом открыто. Но как бы там ни было, я всегда считал, что человек искусства стоит вне классов. И если то, что я говорю про так называемую австралийскую аристократию, звучит самодовольным ханжеством, могу добавить, что когда мои предки несколько поколений назад переселились в Австралию из Сомерсета, они тоже входили в разряд нуворишей — им, мелким фермерам, достались большие участки земли, которую они стали обрабатывать со знанием дела и с выгодой для себя. Разбогатев, они принялись перестраивать свои усадьбы и на месте жалких хуторов воздвигали эдвардианские особняки. Их выписанные из-за границы автомобили котировались в те времена ничуть не ниже, чем нынешние «мерседесы», «ягуары», «порши» и «феррари». Во многих отношениях по-монашески аскетичные, они не чуждались и той экстравагантности, которая прочно вошла в традиции новой австралийской аристократии. Разница же между ними и современными нуворишами Австралии заключается в том, что мой отец и его братья были людьми порядочными и не позволяли себе поступаться своими принципами. У моих безвкусно одевавшихся теток было свое непоколебимое представление о морали. Даже моя мать, женщина с большими претензиями и куда более элегантная, чем они, тоже никогда бы не пошла против своих принципов. Нас с детства учили, что хвастаться, говорить о деньгах и жить не по средствам — плохо и что жертвовать на благотворительность следует без шума.

Во что я верю? Меня ругают за то, что в моих книгах нет на это четкого ответа. Но как можно дать четкое определе-

ние тому великому, настолько переполняющему тебя, что его не выразить, где взять точные слова, чтобы описать этот ежедневный поединок с противником, чья сила никогда не материализуется в мышцах и мускулах, эту беспощадную схватку, кровь и пот которой забрызгивают страницы любого произведения, создаваемого серьезным писателем? Вера — не столько то, что мы вкладываем в слова, сколько то, что содержат в себе молчание, тишина. Рябь воды. Порыв ветра. Распускающийся цветок. Мне хочется добавить сюда же — ребенок. Но ребенок может вырасти в чудовище, стать разрушителем. А я, это лицо в зеркале, этот человек, всю свою жизнь потративший на поиски правды, в которую он верит, но которую никогда не сумеет доказать... я — разрушитель? Напряженно задумавшееся лицо в зеркале... быть может, именно правда и есть величайший из всех разрушителей?

Содержание

- 5 В. Скороденко. Парадоксы Патрика Уайта,
или Оттенки трагикомедии
- 18 Женская рука. Повесть. *Перевод Р. Облонской*
- 103 На свалке. *Перевод Н. Волжиной*
- 139 стакан чая. *Перевод О. Янковской*
- 164 Сосны Аттики. *Перевод С. Леднева*
- 186 Клэй. *Перевод О. Татариновой*
- 208 Блики в зеркале. Автопортрет (*Отрывки.*)
Перевод А. Михалева

Уайт П.

У13 Женская рука: Повесть. Рассказы/
Пер. с англ. Сост. Р. Облонской. Пре-
дисл. В. Скороденко.— М.: Известия, 1986.
— 224 с. (Библиотека журнала «Иност-
ранная литература»)

Крупнейший австралийский писатель, лауреат Нобелевской пре-
мии, автор нескольких романов и двух сборников рассказов, Патрик
Уайт создает яркие, чрезвычайно сгущенные, резкие по краскам
образы своих современников. Уайт — мастер тонкого психологи-
ческого письма.

У $\frac{4703000000-058}{074(02)-86}$ 71—86

ББК 84. 8. 81
И (Австрал)

ПАТРИК УАЙТ

ЖЕНСКАЯ РУКА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

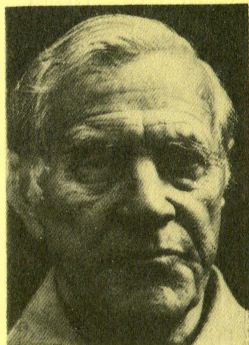
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 844

Сдано в набор 30.04.85. Подписано в печать 13.08.85. Фор-
мат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,10. Усл. кр.-отт.
18,5. Уч.-изд. л. 10,84. Тираж 50 000 экз. Зак. № 431.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск,
ул. Мира, 93.



Патрик Уайт

(род. в 1912 году) — крупнейший австралийский писатель, автор романов "Тетушкина история" (1948), "Древо человеческое" (1955, в русском переводе — 1976), "Фосс" (1957), "Едущие в колеснице" (1961), "Прочная мандала" (1966), "Вивисектор" (1970), "Око бури" (1973), "Пояс стыдливости" (1976), двух сборников рассказов. Главная художественная задача всего творчества Уайта —

анализ средствами прозы многообразных связей человека с внешним миром и другими людьми.

В своей автобиографической книге "Блики в зеркале" он пишет: "Во что я верю? Меня ругают за то, что в моих книгах нет на это четкого ответа.

Но как можно дать четкое определение тому великому, настолько переполняющему тебя, что его не выразить, где взять точные слова, чтобы описать этот ежедневный поединок с противником, чья сила никогда не материализуется в мышцах и мускулах, эту беспощадную схватку, кровь и пот которой забрызгивают страницы любого произведения, создаваемого серьезным писателем?

Вера — не столько то, что мы вкладываем в слова, сколько то, что содержит в себе молчание, тишина. Рябь воды. Порыв ветра. Распускающийся цветок. Мне хочется добавить сюда же — ребенок..."